

К84(2=411.2)С
А 64

ВАЛЕРИЙ АНИШКИН



БАЛАМУТЫ

РАССКАЗЫ



ВАЛЕРИЙ АНИШКИН

БАЛАМУТЫ

РАССКАЗЫ



Орёл – 2014

УДК 82-94
ББК 84 (2Рос=Рус)6
А 67

А 67 **Валерий Анишкин.** Баламуты. / Рассказы / – Орёл: ПФ
«Картуш». 2014. – 292 с.

ISBN 978-5-9708-0432-2

Рассказы, составляющие этот сборник, описывают ушедшую советскую эпоху. Герои рассказов живут в то время, которое принято называть «доперестроечным», и весь их быт и поведение определяются и подчинены этим условиям. Но условия могут меняться, а люди все равно остаются прежними со всеми их достоинствами и недостатками.

Главное, что определяет каждый рассказ – это спокойные краски, рельефный портрет героя и настроение.

Для читателя эта книга может оказаться неожиданной, она не только «уходящая натура», но и почти ушедшее мастерство короткой формы, сдержанной и лаконичной.

УДК 82-94
ББК 84 (2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-9708-0432-2

© Валерий Анишкин, 2014

ПРЕДИСЛОВИЕ

Реалистический рассказ стал сейчас одним из наиболее трудных жанров. Мало кто из писателей может рассказать простую житейскую историю, не прибегая к помощи фантастики, постмодернистской игре или не уходя в самоиронию.

Спору нет – все это интересно и украшает текст, но иногда хочется «кристальной чистоты литературного вкуса», без приправ и гарнира. Автору-реалисту трудно удержаться: обойтись без морали, без протагониста – именно этим при всем мастерстве славна классическая литература XIX века. Редкий оставлявший записи Охотник мог не подводить в них читателя к некой высшей мысли – и понадобилось полвека, чтобы литература доросла до Чехова и Бунина, отразивших действительность по-настоящему объективно – и при этом ярко.

Рассказы Валерия Анишкина более всего как раз и похожи на именно эти образцы реалистической литературы – в них есть подтекст, но нет обязательного к пониманию вывода. Литература, очищенная от излишнего приема, сейчас кажется непривычной. Не развлечение – здесь нет приключений, не тяжкая внутренняя работа, а живопись «для отдохновения глаз»: спокойные краски, рельефный портрет героя и настроение – главное, что определяет каждый рассказ.

Именно поэтому не так важно, что рассказы

описывают ушедшую советскую эпоху – с ее выездами на картошку или столь популярным некогда конфликтом «город – деревня». Как ни странно, но именно «устаревший» антураж стал одним из немногих приемов – хотя вовсе не был задуман таковым. Как и у Чехова, ушедший быт оказывается для нас важной чертой действия, чего вовсе не ожидал автор. Детали рассказов сборника вроде рабочих поселков, сейчас уже почти ушедших в воспоминания, превратились в местный колорит. Пусть непривычный – та эпоха закончилась, но еще не исчезла, – но помогающий лучше увидеть героев. Присмотреться к ним не как к типам, лицам из толпы, а увидеть их в их мире, после чего понять, что антураж может меняться, а люди все равно останутся прежними.

Именно это и подчеркивает автор намеренно аскетичными названиями рассказов. Типичные герои в типичных обстоятельствах: «Кража», «Конфликт». «Измена». Конечно, без литературного контекста не обходится: трудно не заметить, к примеру, аллюзий на «Короля Лира» в «Василине». Но при этом они не становятся главным, самоцелью – в рассказе нет игры. Вместо нее честный и тонкий психологический анализ.

Здесь автор, внутренне ограничивая себя, останавливается порой как будто бы на полуслове. Однако вскоре становится понятно, что так и нужно: рассказ не роман, характер не будет раскрываться здесь на протяжении долгой интриги с сюжетными поворотами. Одно событие, в котором, тем не менее, как в классической капле воды, видна оставшаяся за рамками текста жизнь, оказывается зачастую гораздо показательнее иных многословных страниц.

Встретить такую книгу сейчас – неожиданно, она

не только «уходящая натура», но и почти ушедшее мастерство короткой формы, сдержанной, лаконичной и от этого тем более яркой.

Литературный рецензент издательства «ЭКСМО»

Алексей Обухов

ОТ АВТОРА

Рассказы, составившие этот сборник, были написаны в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века. Тогда эти рассказы сборником готово было взять издательство «Современник», но редактор просил «уравновесить тяжелое впечатление от них более светлыми и оптимистическими вещами», а также, по мере возможности, убрать водку, которую мои персонажи без меры пьют. «Впрочем, возможно, что без пьянства, которое стало слишком характерным в нашей действительности, уже и не так-то просто давать правду жизни», – вынужден был все же в заключение признать автор письма.

Зам главного редактора журнала «Молодая гвардия», куда я послал подборку рассказов по рекомендации местного литературного объединения, также отмечал, что персонажи вызывают весьма горькие чувства, а отсутствие «положительной программы», способной уравновесить негативную часть, «делает рукопись тяжелой для издательства, обращенного к молодому читателю».

Другими словами, водка, которой было слишком много в рассказах, но которую пьют, как это ни «горько сознавать», и негативная часть, которая существовала в обыденной жизни, но которую требовалось уравновесить, потому что это делало рукопись «тяжелой» для издательства, становились на пути публикации хорошего, по словам редакторов, материала.

Но удивительного здесь ничего не было. Система защищала себя, методы социалистического реализма были в действии и соблюдались неукоснительно. А методы эти предполагали, что жизнь должна изображаться оптимистично.

При Советской власти социалистическое искусство было набором обязательных образцов, и за этим тщательно следили.

Запретным считалось многое, и запреты не должны были проникать в сферу, где развивалось социалистическое искусство. Образцы запретного содержались в спецхранах, куда допускались люди по специальным пропускам. Например, в библиотечных спецхранах можно было таким образом ознакомиться с запрещенной литературой. Если же что-то запретное доходило до массового читателя, то это было переложение, приемлемое для советского читателя, или это запретное сопровождалось соответствующими комментариями или предисловием.

Социальное считалось более важным и значительным, чем отдельный человек. Идеология имела охранительный характер, а все основные вопросы сводились к партийности. Художники должны были служить своими произведениями строительству социализма, т.е. изображать жизнь в свете идеалов социализма. Писатель же должен был выступать и влиять на читателя как пропагандист.

В художественном произведении важно было показать хороший поступок и революционную борьбу за светлое будущее. Ну и, конечно, важен был процесс исторического развития в соответствии с положением исторического материализма, согласно которому материя – первична, сознание – вторично.

В социалистической стране было много хорошего, и нельзя забывать и сбрасывать со счетов те социальные блага, которыми пользовались широкие слои населения. Почти бесплатным было содержание детей в детских садах и яслях, бесплатными были кружки в Домах пионеров и спортивные секции, а путевки в пионерские лагеря обходились родителям чуть больше, чем в 12 рублей. Бесплатным было образование в школе и в институте. Бесплатными были квартиры при дешевых коммунальных услугах. Медицинское обслуживание тоже было бесплатным, а лекарства доступными по цене. Ну, естественно, в конечном итоге все расходы, которые несло государство, оплачивал сам народ, но если все социальные льготы приплюсовать к сравнительно небольшим зарплатам, которые получали советские инженеры и служащие, то сегодняшняя сумма в 30 тысяч рублей покажется нищенской.

Вместе с тем, в стране существовали непримиримые противоречия, которые скрыть было невозможно. Нас постоянно трясло от дефицита. Не хватало продуктов питания, не хватало модной одежды, мебели, приборов бытовой техники. За колбасой жители близлежащих городов ездили в Москву, за коврами стояли месяцами в очереди, вставая до света, чтобы отметить. За отсутствием холодильников в зимний период за форточками в домах сплошь и рядом висели сетки со скоропортящимися продуктами. Невозможно было просто так выехать за рубеж, потому что требовалось разрешение месткома, профкома, парткома. А если с вами на улице заговаривали иностранцы, это привлекало внимание соответствующих органов.

При тоталитарном режиме строились московские высотки, с роскошью оформлялись своды станций Метро, а входы в них были величественны как храмы. Но вместе с этим отсутствовало массовое жилье, и люди в большинстве своем ютились в бараках и коммуналках.

Недаром наряду с официальной культурой стали появляться очаги с неофициальной культурой. Это и квартирные выставки, и развитие самиздата в 70-80-е гг. Но стремления обратиться к широким массам кончались репрессиями со стороны властей. Вспомним «бульдозерную выставку» 1974 г. или историю с альманахом «Метрополь» (1979 г.), большинство авторов которого попало под негласный запрет.

Но, несмотря на тоталитарность, тотальным контроль быть не мог. Может быть, поэтому часто спорят, «был ли вообще такой метод как «социалистический реализм».

Наступили новые времена. Россия пережила перестройку и вступила в новый исторический период. Но времена меняются, а люди, в сущности своей, остаются теми же людьми со всеми их достоинствами и недостатками, и, например, тема «свекровь-невестка» (рассказ «К сыну», типичной житейской истории, где нет правых и виноватых) так же вечна, как тема «отцов и детей» («Как здоровье, батя?», где главная беда – разврат пьянства, безделья, грубости, жадной бесцеремонности, жестокости поколений, произведенных «эпохой застоя»).

Вся разница в том, что эти люди живут в других условиях, времени, которое принято называть «доперестроечным», и весь их быт и поведение определяются и подчинены этим условиям.

«НИЩАЯ» ПАША

Бабушка Паша жила одна в маленькой комнатке с коридорчиком, приспособленным под кухню, где на ветхом кухонном столе стояла покрытая копотью керосинка. На этой керосинке она варила свой нехитрый старушечий обед, чаще всего молочную вермишель. Дом, в котором она жила, был ветхий, его давно уже нужно было снести, и он был определен, как подлежащий сносу, но у исполкома никак не доходили до этого дома руки, и он стоял, облезлый и покосившийся. И бабушка Паша была такая же ветхая, как дом, в котором она жила, и помнила еще помещика, хозяина этого дома. Тогда дом был иной, с прямым фасадом, выкрашенным зеленой масляной краской, и под железной кровлей, радующей глаз ярким суриком.

Из той своей жизни бабушка Паша видела неясные и причудливые сны. Но видела она себя в этих снах как бы со стороны и все, что было давным-давно, казалось, было не с ней, а с кем-то другим. Сны путались, и перед ней предстал вместе с погибшим в гражданскую мужем Семеном батюшка Успенской церкви, куда она ходила молиться, отец Борис.

Но чаще видела сына, убитого в первый же год

войны, после чего ополумела от горя и сразу же стала старухой. Он снился мальчиком. Он протягивал к ней руки, а она, опять же посторонняя, никак не могла дотянуться до него.



Старушки богомолки, когда она рассказывала этот сон, со значением говорили, что это господь дает знамение, к себе призовет скоро.

– Да, уж скорей бы, господи! – вздыхала бабушка Паша, не потому что в самом деле считала, что пришла пора помирать, а чтобы не гневить господа.

За сына она получала двадцать шесть рублей пенсии. Соседка Мотя советовала похлопотать насчет прибавки. Как никак, и муж и сын головы за советскую власть сложили. Но хлопотать было некому, да и документов никаких, кроме двух писем от сына, да похоронки, не было. И бабушка Паша обходилась так.

Полного достатка она никогда не знала. Озарилось было счастьем ее житье, когда Семена встретила, да не ей, видно, оно было предназначено, не в тот дом залетело и, войной обернувшись, оторвало от мужа, не дав к нему привыкнуть как следует, разбив все слаженное вдребезги. Осталась вдовой Прасковья с плотью и кровью Семеновой, годовалым сыном. Она ни у кого ничего не просила, но ей всегда подавали. И принимая пятак, яблоко или кусок пирога, старые боты или поношенную кофту, униженно кланялась и благодарила от себя и от имени господа, обещая его милость, будто он был ее родственником.

Привыкшая всегда и на всем экономить и отказывать себе во всем, она незаметно стала скупой.

Покупала в основном молоко да хлеб, на что хватало с гаком пятаков, которые ей подавали. И ее поразительная и порой отталкивающая скупость превратила ее по существу в нищенку. То, что иногда перепадало ей из старой ношеной одежды, она ухитрялась куда-то сбывать и оставляла себе лишь малое из пожалованного, самое добротное и нужное, да и то прятала в сундук, предпочитая носить когда-то бывшее черным и давно потерявшее цвет сатиновое платье, высокие стоптанные ботинки «румынки», модные в двадцатых и пятидесятых годах, копия «цыганок», в которых щеголяли еще гимназистки, да потертую «плюшку», неизменно пользующуюся спросом у старушек и пожилых колхозниц.

По дороге домой бабушка Паша, откуда бы ни шла, кланялась земле, подбирая шепки, кусочки угля – все, что горело, и таким образом обеспечивала себя топливом, и никогда не упускала случая заглянуть в скрытые от глаз углы и кусты в поисках пустых бутылок, и они у нее вечно звякали в облезлой дерматиновой сумке с ручками, обмотанными синей изоляционной лентой...

В церковь она ходила не ко всякой службе, экономя пятиалтынный на свечке и строительстве храма божьего, жертвуя только по большим праздникам, хотя в Бога верила твердо, часто молилась с поклонами и не забывала прочесть «На сон

грядущим»: «Огради мя, Господи, силою Честного и Животворящего Твоего Креста и сохрани мя от всякого зла... Милосердия двери отверзи нам, благословенные Богородице; надеющиеся на Тя, да не погибнем, но а избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй».

В комнате, в углу, у нее висел черный от копоти Николай Угодник, которому она надоела, выпрашивая себе здоровья и легкой смерти. У матери божьей, святой девы Марии, она не просила ничего, но делилась мелкими заботами, пересказывая уличные склоки, жаловалась на суету мирскую и, повздыхав перед образом, снимала с души злобу, накопившуюся за день.

Выше отца Бориса в мирской жизни она никого не знала. И когда после окончания службы подходила к нему под благословение, робела. Ей казалось, что батюшка читает ее душу, как книгу, где видит грехи, которые больше никому не ведомы. Она поспешно прикладывалась к кресту и, получив благословение, спешила отойти, а отойдя, вздыхала с облегчением.

Так она и жила. Тихо. Уживаясь с людьми и Богом. Ничего ни у кого не просила, ничего никому не давала, разве что благословение Божье, которое давать было просто.

И счет годам бабушка Паша потеряла и дня своего рождения не помнила.

Но умереть она не могла, потому что сын ее лежал в братской могиле, что далеко под Псковом, в селе Дубки, и она еще не плакала на его могиле. И она знала, что не будет ей покоя, пока не съездит на его могилу.

Она берегла память о сыне и носила ее в себе все долгие послевоенные годы. И все эти годы ей не давала покоя мысль о том, что ее сын умирал в чужой стороне и звал ее, а она была далеко, и некому было унять боль, утешить, облегчить его страдания.

Эта мысль жгла ее и терзала сердце, и все чаще в последнее время стало возникать перед ней лицо сына, точно он напоминал ей о себе.

И когда видение становилось особенно навязчивым, она шла в церковь, ставила незапланированную свечку, оставляла поминание и сама молилась за упокой души убиенного раба божьего Михаила.

Однажды, когда бабушка Паша стояла в овощном магазине в очереди, ей стало плохо. Сердце вдруг сдавило невидимой силой так, что она не могла вздохнуть, в глазах потемнело, а ноги подкосились, и она стала опускаться на пол. Она бы упала, но ее успели подхватить под руки, отвели к окну и усадили на ящик.

Когда сердце немного отпустило, и бабушка Паша смогла перевести дух, ее отвели домой. Соседка Мотя дала ей капель и заставила лечь.

Все прошло, но тот случай ее напугал и вдруг поразил догадкой. «Я ж скоро помру, – подумала она, и будто кто подтолкнул ее: – Мне ж к Мише ехать надо»

А когда решилась, будто освободилась от тяжелого бремени, давившего на нее столько лет.

Все хлопоты по поездке взяла на себя Мотя. Она решила сама довести бабушку Пашу до места и для этого оформила три дня в счет отпуска. В первую очередь Мотя заказала билеты до Пскова, туда и обратно, в жесткий плацкартный вагон ...

Поезд отправлялся вечером, а утром бабушка Паша сходила в церковь. Она поставила святым по свечке и не поскупилась на пожертвование. Долго молилась, потом попросила благословения у отца Бориса и в этот раз перед ним не оробела.

Вернувшись домой, она достала из сундука чистое белье, черное атласное платье, подаренное ей за то, что она сидела с пятилетней дочкой полковничихи из девятиэтажного дома, черный кружевной платок и стала одеваться.

Когда Мотя, занятая подготовкой к отъезду, заглянула к бабушке Паше, чтобы покормить ее, та неподвижно сидела на кровати, прямая и строгая, во всем черном, уже готовая к отъезду.

Ее застывшее лицо, оттененное черным кружевом, походило на мумию. В нем было что-то пугающее

Мотю, и она, прижав к губам пальцы рук, не осмелилась заговорить и, поколебавшись чуть, позвала тихо: «Бабушка!»

Глаза бабушки Паши моргнули, и она чуть повернула голову, давая знать, что слышит.

– Скоро ехать. Надо б поесть перед дорогой.

Бабушка Паша послушно встала и пошла за Мотей, но когда сели за стол, выпила только два стакана чая вприкуску с кусочком «пиленого» сахара...

Ехали почти сутки. На остановках не выходили. Только раза два Мотя попросила попутчицу, молодую женщину, купить сладкой газированной воды, а так поесть они взяли с собой, а больше ничего было и не нужно. Ночью Мотя спала, а бабушка Паша, несмотря на уговоры, от постели отказалась и всю ночь продремала за столиком, положив голову на руки. И все ощупывала деньги, зашитые в подол нижней рубахи. По этой причине и не ложилась, боялась, что как только уснет, деньги обязательно утащат.

От Пскова до Дубков их вез маршрутный автобус.

Народу в автобусе было много, но их посадили, уступив место. Здесь ехали все свои, дубковские, и бабушка Паша с Мотей оказались в центре внимания. На них посматривали с любопытством. Первой не выдержала пожилая женщина в цветастом платочке и вежливо поинтересовалась:

– Извиняюсь, вы чьи ж будете?

– Она к сыну едет. Похоронен он у вас, – поспешила объяснить Мотя и посчитала нужным добавить:

– В войну погиб.

В автобусе стало тихо.

– Видать, никого в Дубках родни-то нет? – спросила та же пожилая женщина.

– Нет, милая, – ответила бабушка Паша.

– Ну, значит, прямо ко мне! – решила женщина и назвалась:

– Зовут меня Мария Ивановна. Можно теткой Марье, все так кличут.

Заговорили про войну. Нашлись люди, которые помнили бой за Псков и оккупацию. Бабушка Паша жадно слушала, потом спросила про могилу. Ей сказали, что за могилой ухаживают пионеры.

Прямо с автобуса пошли к Марье.

Ночью бабушка Паша спала плохо. Все ворочалась и никак не могла дожждаться рассвета. Встала рано и стала ждать, когда проснется Мотя.

К завтраку, несмотря на потчевания Марьи, не притронулась. Ее уже всю захватила мысль о свидании с сыном. Сердце глухо билось в груди, и в душе поднималась и росла неясная тревога.

Братская могила находилась на краю села, в стороне от дороги. Всякий, кто входил или въезжал в Дубки, видел на холме небольшой деревянный

памятник, обнесенный таким же деревянным частоколом, покрашенным синей масляной краской.

Когда подходили к могиле, у бабушки Паши стали подкашиваться ноги, и она, впадая в полуобморочное состояние, почти повисла на Моте, и ее подхватила с другой стороны Марья.

Но за изгородью бабушка Паша высвободила руки и, оттолкнув Мотю, повалилась на травяной холмик и завывала, запричитала. В голос. Жутко. До мороза в коже. Выплакивая последние слезы.

Она жаловалась сыну на свое сиротское житье, на одиночество. Она жалела сына и жалела себя без него. Она кляла судьбу за то, что она, старуха, все еще живет, а он, которому жить да жить, лежит в земле ... И тут только Мотя поняла, как тяжело жилось бабушке Паше, и она почувствовала неловкость оттого, что не всегда могла помочь ей. А бабушка Паша все причитала, и плач ее разносился далеко окрест... И уже на краю села собрались люди. Они стояли молча, сочувствуя горю матери и чтя чужую память.

Мотя несколько раз подходила к распластанной бабушке, пытаясь поднять ее, и все уговаривала:

– Ну хватит, бабушк. Вставай. Пойдем, хватит.

Та цеплялась за траву, и ее никак не могли оторвать от могилы. Наконец, вдвоем с Марьей они оттащили ее и силой увели за ограду. Бабушка Паша совершенно обессилила, и Мотя с Марьей почти несли

ее. Люди расступились и сочувственно смотрели на бабушку. Женщины плакали ...

Днем к Марье зашел председатель колхоза, рослый плечистый мужчина с густыми усами и усталыми глазами.

– Здоровы будете! – поздоровался он со всеми.

– Здравствуйте, Василий Степанович! – почтительно ответили хозяева.

Председатель шагнул к бабушке Паше.

– Боев, председатель здешнего колхоза, – представился он. – Слышал я, мамаша, к сыну приехали. Добро. Побудьте у нас, погостите. Если нужно чем помочь, не стесняйтесь. Люди у нас добрые, приветливые.

Он посмотрел на Марью и ее мужа.

– Спасибо вам. Мы сегодня едем. У нас билеты на поезд, – сказала Мотя.

– Чего ж так спешите-то? – спросил председатель.

– А плоха я теперь, сынок... Домой поспешать надо. Теперь смерти ждать буду.

– Ну что вы, мамаша... Рано вам о смерти говорить ...

Председатель смущенно кашлянул.

– Во сколько поезд-то?.. Вечером? Так я вам машину пришлю. Довезет до города.

– Спасибо, сынок. Дай тебе Господь здоровья, – Бабушка Паша перекрестилась и низко поклонилась.

Когда председательская «Победа» доставила женщин к вокзалу, шофер достал из багажника корзину с яблоками и передал Моте.

– Это бабушке от Василия Степановича, – пояснил он. – Просил передать.

Шофер помог им сесть в вагон и уехал.

В дороге бабушка Паша ничего не ела, хотя Марья собрала им в дорогу большой сверток: здесь была и курица, и пирожки, и даже бутылка молока. Она сидела безучастная ко всему и, когда Мотя обращалась к ней с чем-нибудь, она силилась и не могла понять, чего та от нее хочет.

Что-то вдруг надломилось в ней. Она вдруг стала говорить про какие-то деньги на памятник, который нужно поставить на месте деревянного. Впала в забытье, а потом опять вспоминала про деньги. Мотя не обращала на эти слова внимания. Она видела, что бабушка Паша совсем плоха и боялась, что не довезет ее до дома, и когда приехали наконец домой, она вздохнула с облегчением...

Оказавшись в своей комнате, бабушка Паша почувствовала себя плохо. Ноги не слушались и хотелось поскорее лечь. У нее хватило сил по стенке добраться до кровати...

И не было ангелов, и не покидала душа тело. Она даже не успела понять, что умирает. Сердце сделало последний, какой-то судорожный толчок, тело

дернулось и замерло. Но мозг некоторое время еще продолжал работать, и сознание успело отметить расплывающуюся пустоту и телесную легкость...

На следующий день после похорон у колонки разговаривали две соседки.

– Ты ведь знаешь, Шур, что вчера бабушку Пашу похоронили? – спросила одна.

– Да как же, Тонь! – ответила Шура. – Сама пятерку на похороны давала, когда по соседям деньги собирали.

– Спасибо Моте, побегала. Гроб дядя Коля бесплатно скотил, за одну выпивку. Немного собес помог. Ну, помянули потом. Мужики, которые гроб несли. Дядя Коля, Шалыгин, еще мужики.

– Да уж беднее бабы Паши не было! – согласилась Шура. – Царство ей небесное!

– Да в том то и дело, Шур! Ты знаешь, сколько у нее в матрасе нашли?

– Тоня выдержала паузу и с какой-то злой радостью выдохнула: – Пять тыщ!

– Да ты что? – испугалась Шура, и у нее округлились глаза.

– Вот тебе и что! Стали разбирать вещи. А какие там вещи? Все на выброс. Мотя думала, может, что взять себе, да что там! Одно тряпье. Матрас и тот обветшал. Хотели выбросить, да что-то зашуршало. Мотя пощупала, вроде бумага. Надорвали материю, а

она и расползлась, гнилая, да и повалились деньги. Больше пятерки и тридцатки, но были и сотни.

– Вот тебе и нищая!

– Все жадность наша. Хотя б отказала кому, хоть бы и Моте. Сколько Мотя для нее сделала?! А то так, никому.

– Так Мотя и взяла бы.

– Да нет, Шур, там же не одна Мотя была. Да и муж у Моти милиционер. Не дал бы. Не положено.

– Да и то правда. Чужое руки жжет. Потом как жить? Совесть замучает, – согласилась Шура.

– А, может, что и взяла, – словно не слыша и думая о чем-то своем, сказала Тоня.

Орёл, 1960 г.

ХОЗЯЙКА

В четыре часа прямоугольничек окна стал светлеть, и в комнате начали вырисовываться стены с облезлыми обоями и застекленными рамками, набитыми фотокарточками, а вскоре можно было различить уже всю обстановку: круглый раскладной стол, застеленный клеенкой и покрытый кружевной скатертью; старый двухстворчатый шифоньер со стеклянным окошечком в бельевом отделении. Окошечко это было заставлено изнутри репродукцией из журнала «Огонек», подвернутой по размерам стекла так, что видны были только лица трех мальчиков, впряженных в сани, и их напряженные фигуры до ног.

Стулья в квартире были простые и крепкие, отремонтированные и посаженные на клей самим хозяином Федором, мужиком мастеровым, рукастым. У стены против окна стояла железная, выкрашенная синим цветом, кровать с облупившимися никелированными шарами на спинках. Над кроватью висел вытертый и блеклый ковер, очевидно когда-то лежавший на полу, и увеличенный, тоже в застекленной рамке, портрет молодых хозяина и хозяйки.

Оба небольшого, почти одинакового роста, но он

чуть покрупней, задиристый, раскоряченный в коленках, в лихо сдвинутом набок картузе, из под которого вываливаются кольца завитого чуба, в костюме с брюками, заправленными в сапоги, сдвинутыми в гармошку, в вышитой рубашке и с цветком в петлице пиджака. Она вложила свою руку в его, поставленную кренделем, и доверчивой телушкой смотрит в объектив.

На ней цветастое крепдешинное платье с приподнятыми плечиками по моде послевоенных лет, черные лакированные туфли и белые носочки. Волосы зачесаны за уши и уложены заколками, а завитые концы спадают с затылка и касаются плеч.

Под этим портретом спят его обладатели и хозяйка этой комнаты, сараев, закутков. Катя спала свернувшись калачиком, поджав ноги к животу и подложив одну руку под голову, другую спрятав в коленках. Дыхание ее было беспокойным и тихим. Так спят люди слабые, неуверенные в себе.

Когда первый лучик солнца робко заглянул в окно и солнце вдруг полезло за ним, медленно заполняя комнату, растекаясь по ней, словно убежавшая квашня, появилось беспокойство. Оно давило мучительно, и сны последних минут были тяжелыми и несуразными, как при недуге.

Беспокойство росло и уже тревогой стало вонзаться в мозг. И тогда Катя проснулась ...

И сразу засуетились, заспешила. Быстро натянула заштопанную, давно потерявшую свой цвет сатиновую юбку, застиранную ситцевую кофту, сунула ноги в стоптанные туфли и, наскоро сполоснув лицо, забегала, захлопотала по дому.

Прежде всего включила газ и поставила греть пошло Милке, которая уже нетерпеливо мычала в хлеву. За это время успела прибраться в доме. Накормив и подоив корову, она взяла метлу и совок и заспешила на свой участок, где работала дворником от домоуправления. А закончив работу здесь, она сбегала домой, собрала надоенное молоко в бидон и стала разносить по клиентам, приурочивая время, когда все уже встали и собирались на работу.

И только потом, взяв пустые ведра, она пошла по улицам собирать пищевые отходы. Ведра звякали, полы мужского офицерского кителя развевались и мешали ей, но она не обращала на это внимания, поглощенная одной заботой – набрать побольше отходов, чтобы накормить своих свиней.

Обтрепанный шерстяной платок, большие резиновые сапоги, хлопающие на ногах, делали ее несуразной и жалкой.

Обход она всегда начинала с другого конца улицы Разградской, с пятьдесят шестого дома, где жила семидесятилетняя голубятница Раечка. Раечка держала голубей всю жизнь, и ее знали все приличные

голубятники города. Ее шикарная голубятня, обитая железом, стояла на четырех высоченных металлических столбах и была видна всей улице.

Еще подходя к Раечкиному дому, Катя услышала свист. Открыв калитку, она увидела, что Раечка стоит с шестом в руках, к концу которого привязана тряпка, и пугает голубей. Голуби бабочками невысоко вспархивали над голубятней и снова пытались сесть на конек крыши, но Раечка резким пронзительным свистом и шестом поднимала их в воздух, не давая сесть, и краснопегие, чиграши, почтари, бабочные наконец взвились стаяй и ушли в сторону, набирая высоту.

Даже Катя на секунду забыла о своих заботах и, прикрыв глаза ладонью, задрала голову кверху.

На заборе показалась стриженная голова и, пропев: «Раечка, чужак над нами, копни штанами», моментально исчезла. Раечка, угрожающе подняв шест, бросилась к забору. Раздался дробный топот мальчишеских ног, и Раечка, усмехнувшись, беззлобно сказала, прислоняя шест к голубятне: «Пацаны».

У Раечки Катя перелила в ведро из кастрюли прокисший суп, высыпала плесневые куски хлеба и заспешила в пятьдесят первый дом к старой деве Марии Семеновне, которая жила с братом, таким же стариком, вдовцом Николаем Семеновичем. Совсем недавно умерла их девяностатрехлетняя мать,

выжившая из ума старуха, и они с облегчением вздохнули, потому что мать регулярно поджигала дом или открывала газ. В остальное же время она сидела на крыльце и разговаривала сама с собой вслух, уделяя основное внимание детям, которых зло ругала матерными словами.

Мария Семеновна копила для Кати очистки, собирала корки хлеба, огрызки, накапливая солидную порцию отходов, потому что Катя осенью, когда резали поросенка, благодарила Марию Семеновну хорошим куском мяса и шматом сала.

– Пришла? – сказала Мария Семеновна строго, открывая двери на стук.

– Да вот все так вот, – сразу теряясь, и от этого невольно ответила Катя. Она всегда робела перед ворчливым и холодным голосом Марии Семеновны и, стараясь угодить, заискивала перед ней. Марии Семеновне это нравилось, и она охотно учила Катю, давая ей советы, касающиеся совместного проживания с мужем, участвовала в обсуждении семейных проблем, умело выпытывая домашние секреты, и получала от этого большое удовольствие.

– То-то, что так вот, – переговорила Мария Семеновна. – Федька– то опять пьяный был вчера?

– Выпил немного, – подтвердила Катя.

– Да где ж немного, если до колонки на корячках дополз, да никак воду пустить не мог?

«Ведьма, ничего не пропустит, все знает», – безразлично подумала Катя, но вслух согласилась, подлаживаясь под Марию Семеновну.

«Ишь ты, какая скорая. Своего заводи, и показывай свои парткомы», – согласно кивая головой, с обидой подумала Ката, и злорадная мысль заставила усмехнуться про себя: «На кого нарвалась, а то он тебя выучил бы. Не жила еще»

– А то травы какой подмешала: как выпьет, так скорчило бы, света белого не взвидел бы.

Катя промолчала, но вздохнула, будто соглашаясь. Вроде невзначай она звякнула ведром – может, Мария Семеновна вспомнит о деле, но та вдруг переключилась на другое.

– У Сашки-то припадки давно были? – спросила она про семнадцатилетнего Катиного сына, страдавшего от эпилепсии.

– Ой, как бы ни сглазить, пока Бог милует.

Катя поплевала в сторону левого плеча.

– Ты смотри, – Мария Семеновна понизила голос до шепота. – Он возле Симки-дурочки ходит. Как-бы чего не вышло. Симке-то, даром что пятнадцать лет, а чувства уже все бабьи имеет. К мужикам ее тянет. И вытворять стала что зря. То подол задерет перед ребятами. А вчера пэтэушника за срамное место схватила. Тот с перепугу на всю улицу орал. Думали, повредила что. Мать Симку секла и дома заперла. Да ведь вечно держать взаперти не будешь.

– Ой, господи,– перепугалась Катя. – Избави бог. Уж я ему, паразиту окаянному, выдам по первое число. Вот наказание-то.

Не на шутку встревоженная, она еще долго охала, пока Мария Семеновна доставала и вываливала в ведро собранные ею отходы.

В проходном дворе тридцать четвертого дома Катю поджидали собаки, которых там было несколько. Они всегда поджидали ее у ворот и, когда она появлялась, дружно набрасывались, исходясь в злобном брехе, пытаясь подобраться к пяткам или ухватить за подол кителя, но укусить не решались. То ли боялись ведра, то ли из-за чего другого. Вполне вероятно, например, что они просто снимали за Кате свое собачье напряжение или это была своеобразная разминка, тренировка собачьих высших качеств, – голоса и отваги. Это продолжалось из года в год. И хотя одни собаки куда-то время от времени исчезали, другие занимали их место, и объект передавался словно по эстафете.

Катя рысью пробежала через двор, привычно отмахиваясь от собак, и только раз остановилась, когда нахальная дворняга Мушка, с заливистым лаем подкатилась под ноги. Катя успела зацепить ее ногой, и Мушка, завизжав больше от страха, чем от боли, отлетела в сторону.

Катя юркнула в двери Кустихиной квартиры.

– Развели псарню, – ворчливо посочувствовала Кустиха. – Людям проходу не дают. Боишься из квартиры выйти. А дети с этими собаками целый день возятся. Куда только родители смотрят!

– Не кусаются! – передразнила кого-то Кустиха. – Что ж, что не кусаются. А укусит? Что тогда? ... Ну-ка, за хвост потяни, как Колька вчера. Это надо сообразить, чтоб Пирата за хвост ухватить. Его же, черта страшного, все собаки боятся ... Если бы моя воля, я бы всех собак на мыло извела. Бегают без присмотра? Нет хозяина? В кутузку.

Между тем, кустихины кошки, которых у нее было четыре, лазили по кухонному столу и обнюхивали кастрюли, нисколько не обращая внимания на хозяйку.

Назад Катя шла такой же рысью. Ведра были почти полные, и замахнуться ими было нелегко, поэтому она действовала больше словами:

– Пошли прочь! А ну пошли ... Ишь, твари поганые. Чисто китайцы, прости меня, Господи!

Она покрикивала на собак басом, считая, что так их лучше отпугнет, но собак ее голос раздражал и распял еще больше, и они, выведя ее на улицу, еще долго провожали, а потом брехали всле.

Согнувшись под тяжестью ведра, мельча шаг, как беременная сучка Берта, Катя потащила свою ношу домой.

Раньше она успевала сбегать в пятиэтажный дом и набрать ещё пару ведер из бачков для пищевых отходов, которые стояли там на каждом этаже, до того как эти отходы увозили в контейнерах на спецмашине. Но после того как поскандалила со своей бывшей соседкой Зинкой Письман, неизвестно каким способом получившей с мужем, парикмахером Ароном, квартиру в новом пятиэтажном доме, ход ей туда был заказан.

Началось с того, что Зинка застала ее, когда она выгребала отходы из бачка в свое ведро.

– Уже и здесь поспела? – ехидно заметила Зинка.

Кате промолчать бы, но ее задели эти слова, и она сказала вроде про себя:

– Нам пенсий не начисляют.

Намек был куда как прозрачен. Зинка, сроду нигде не работавшая, когда строился дом, нанялась сторожить стройку. На стройке лежали штабеля досок и стояла циркулярная пила. Зинка, подворывая ночью доски, пользовалась этой пилой, перепиливая их на две части.

Работа с циркулярной пилой требовала определенной сноровки. И Зинка такую сноровку выработала. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Доску повело, и пила циркнула по руке, смахнув два пальца на левой руке. А через некоторое время она стала получать пенсию по инвалидности.

Это Катя и имела в виду.

Зинка взорвалась немедленно:

– Ах ты барахло! Вы только посмотрите на эту дуру. Она завидует моей пенсии. Да у тебя в чулке больше, чем у директора мясного магазина на сберкнижке. Ты же по пять поросят выкармливаешь. Даром, что как нищая в тряпье ходишь.

– Зато ты вся в золоте ходишь, – теперь уже напропалую пошла Катя. – Сонька расползлась не хуже того поросенка, вот-вот лопнет. И один Арон работает ...

– Вон отсюда, паскудина, – не вынесла этого Зинка. – А ну-ка, вываливай все назад. Ходит, выгребает ... Для нее здесь бачки поставлены.

– Чтоб тебе подавиться этими объедками! На, ешь! – сразу осевшим голосом выкрикнула Катя и, теряя голову от полыхнувшей ярости, опрокинула ведро не в бачок, а рядом, прямо на площадку. И вдруг, сообразив, что это может плохо кончиться, быстро пошла к выходу. Зинка охнула и стала по рыби ловить ртом воздух, не находя слов для выражения возмущения, и только когда Катя была уже на улице, бросилась за ней и крикнула вслед:

– Ну, тварь, чтоб твоей ноги здесь больше не было! И близко не смей подходить к этому дому!

На это Катя показала ей зад, похлопав по нему ладонью.

Когда Катя прибежала домой, Федор уже встал и ждал ее, голодный и злой.

– Где тебя леший носит? – набросился он на жену.
– Давай завтракать, мне сегодня пораньше надо ... С ведрами могла б и после сбегать.

Катя не стала объяснять что «после» бежать тоже придется. Чего молоть языком зря. Ему это также нужно, как свинье Машке сдобные булки.

«А пожрать мог бы и сам взять», – беззлобно отметила Катя, но вслух сказать этого не решилась.

– Сейчас, сейчас, – примирительной скороговоркой забубнила она и стала торопливо ставить кастрюли на плиту и накрывать на стол. Федор завтракал также плотно как обедал. А поэтому Катя разогревала ему вчерашний суп, подавала картошку с котлетами. Готовила Катя добротню и кормила семью сытно. Разносолами стол не разнообразила, но жаловаться было грех. Суп, борщ или щи были на крутом мясном бульоне, к картошке или макаронам подавались домашние котлеты, а соленые помидоры, соленые огурцы и капуста всегда стояли на столе в поливных мисках и были хороши до чрезвычайности, потому что засаливались в дубовых бочках и хранились в глубоком погребе, вырытом и зацементированном самим Федором.

Отправив Федора на работу, Катя разбудила Сашку. Покормила и отправила на пустырь резать траву для кроликов, которых она держала до полусотни штук, а сама стала мешать свиньям варево в большой бадье.

Сашка матери был жалок, хотя она с ним особо и не церемонилась, и он у нее волчком вертелся по хозяйству, вполне заменяя работника.

В школу Сашка не ходил уже три года. В седьмом классе у него участились припадки эпилепсии, и врачи учиться дальше запретили. В конце года ему без экзаменов выдали свидетельство об окончании семилетки, и больше он в школу не пошел.

Припадки у него начались лет с пяти, после того как покусала собака, их сторожевая дворняга Лайка. Лайка только оценилась и никого не подпускала к щенкам. Сашка полез гладить их, и Лайка, никогда до этого не трогавшая своих, словно взбесившись, вдруг ощерилась и с яростью вцепилась в него зубами.

Лайку Федор пристрелил из охотничьего ружья, а щенков утопил, и больше собак не заводили.

Накормив свиней и дав корм кроликам, Катя взяла пустые ведра и снова пошла по дворам. Наполняя свои ведра, она попутно сбегала за хлебом тетке Оле, которая жила вдвоем с сыном-бобылем, горьким пьяницей Толей, наносила воды из колонки бабушке Полине; кому помогла вытрясти половики, кому вынести помои. А часам к двенадцати была уже дома. Сашка успел нарезать травы и ждал ее, стоя у калитки. Был он такой же малорослый как отец, но из-за худобы похож был на семиклассника, и дать ему можно было лет четырнадцать-тринадцать, несмотря на полные

семнадцать, И был он прыщав и рыж. Катя увидела его тонкую фигуру, сиротливо жавшуюся к стояку калитки, издалека, и сердце заняло от жалости.

Но дома, когда посадила Сашку за стол обедать, вспомнила слова Марии Семеновны и строго спросила:

– Ты зачем к Симке-дурочке лезешь?

Сашка густо покраснел, и веснушки исчезли, будто стерлись с лица.

– Кто лезет-то? – буркнул Сашка.

– Кто, – передразнила Катя. – Дед Пихто, вот кто. Смотри мне. Если еще услышу, батьке скажу – он тебя выдерет. Не посмотрит, что хворый.

Сашка молча ел, уткнувшись в тарелку.

– Завтра сходишь за меня на участок, поработаешь, – сказала чуть погодя Катя и сочла нужным пояснить:

– Мы с отцом засветло поедем в район за отрубями. Дядя Коля на машине заедет. Его за стульями на мебельную фабрику посылают, а там на мелькомбинате у него сродственник работает. Отец завтра отгул берет. – И посмотрела на сына, понял ли.

– Помыв посуду, Катя почистила картошку и поставила варить мясо для бульона, угадывая, чтобы обед поспел к приходу Федора.

И опять закужилась, завертелась. Обобрала на огороде огурцы и сняла покрасневшие помидоры,

простирнула и развесила бельевую мелочь: майки, тряпки, полотенца; постирала рубашки Федору и Сашке, успела накормить скотину и, выключив, наконец, плиту, села ждать мужа, а чтобы не сидеть без дела, отобрала для штопки носки и, работая иглой, поглядывала на часы.

Но время шло, а Федора все не было. Катя успела перештопать носки, попришила пуговицы на рубашках, покормила Сашку и раза два выскакивала на улицу, высматривая мужа. Когда же часы показали семь, она знала, что Федор придет пьяным.

Действительно, минут через двадцать в дверь просунулась соседка Мотя и сообщила:

– Кать, там твоего ведут.

Катя торопливо встала и пошла встречать мужа.

Федора вели приятели. Вели серединой улицы, поддерживая под руки с двух сторон. Шли они молча, сосредоточенно выбирая дорогу, стараясь обойти рытвины и выбоины. Были они в той стадии, когда все внимание направлено на ноги, а мозг выполняет только одну работу, не дает упасть, удерживает на ногах.

Федор безвольно висел на друзьях, закатывая глаза, и от натужного усилия согнать дурь, скрипел зубами. Но ближе к дому сделал вдруг отчаянное усилие, пытаясь высвободиться из рук своих приятелей, и те, потеряв равновесие, упали вместе с ним.

Поднялись и с пьяной решительностью довести друга до самого дома упорно пытались снова взять Федора за руки, но Федору это не понравилось, и он, вдруг обидевшись, неожиданно ударил в лицо своего приятеля. Тот удивленно охнул и, не раздумывая, ответил сильным тычком в зубы. Федор повалился и, матерясь, силился встать на четвереньки, но приятель, не давая ему подняться на ноги, завалил и начал пинать ногами, ладясь угодить под ребра. Сразу оторвалась от ворот и коршуном налетела на него Катя. Она стала оттаскивать его от Федора, колотя кулаками по спине и пытаясь дотянуться до волос. Другой приятель долго не мог взять в толк, что происходит, а потом бросился отнимать своего товарища у Катя, и скоро они ушли, оставив Федора на земле. Ему никак не удавалось подняться. Катя помогала ему и причитала на всю улицу:

– Ой, убили. Убили, бандиты окаянные!

У колонки столпились старухи с ведрами, и вокруг собирались прохожие. Кто с сочувствием, кто с любопытством, а кто и с откровенным удовольствием смотрели на дармовое представление и с нетерпением ждали, чем этот спектакль кончится.

Помог Кате Ольгин сын. Он поднял Федора и вместе с Катей отвел в дом.

Дома Катя раздела мужа, подвела к рукомойнику и, сливая из кружи воду, смыла кровь с разбитой губы и умыла.

Он держался руками за край умывальника и что-то невнятно бормотал.

За столом его окончательно развезло, и он сидел с полужакрытыми глазами и, едва попадая ложкой в рот, проливал щи на себя. Вид у него при этом был идиотский. Он сидел за столом в трусах и майке, залитой водой и щами. Глаза бессмысленно лупились, когда он широко их открывал, точно хотел и не мог понять, где находится.

Щи он не доел и полез из-за стола. Вдруг на него напала икота. Она его сотрясала, и он дергался, будто его с равными промежутками тыкали кулаком в спину. При этом голова его откидывалась назад.

Катя дала ему выпить воды и повела к кровати. Через минуту Федор захрапел.

Сашка чистил закуток, где содержались свиньи, и в дом доносилось похрюкивание и хозяйственный тенорок Сашки, сгоняющего скотину с места.

Катя сидела на стуле, прислонившись к спинке и положив тяжелые, перетянутые синими жилами и изъеденные содой, руки на колени.

Она, наконец, могла перевести дух и посидеть молча, ничего не делая, никому не прислуживая. И хотя лицо ее выражало усталость, на губах плавала робкая улыбка.

Катя думала о том, как они завтра чуть свет поедут в район, как в районе, пока Федор с Николаем

будут хлопотать по делам, она сходит в промтоварный магазин и пройдетя по райцентру, а потом они будут ужинать у Николаевых сродственников. Мужики выпьют. Выпьют и они с хозяйкой Глафирой по лафитничку, а потом, уложив мужиков и перемыв посуду, допоздна проговорят с ней про житье-бытье и уснут довольные, освободившись от непомерного груза тайных бабьих дум и сбросив на какое-то время утомительную тяжесть ежедневной суеты ...

И легкое подобие счастья радугой расцветило ее душу.

На сердце было легко и спокойно.

Орёл, 1983 г.

ВАСИЛИНА

– Вези матку к Катьке, – сказала Зинаида мужу, когда они легли спать. – Пусть у нее поживет.

– Что так? – удивился Николай.

– А сил никаких моих больше нет. Уже что зря вытворять стала.

Зинка приподнялась на локте, пытаясь в темноте определить выражение лица мужа.

– Опять кастрюлю с супом перевернула... Тряпку на плиту положила, а конфорка горела. Никак не пойму, откуда гарь идет. Глядь – тряпка горит.

Зинаида проглотила слюну, пытаясь справиться с обидой, комком застрявшей в горле. Не справилась и сквозь слезы добавила:

– Тарелки. Все тарелки перегрохала.

Николай нашарил на тумбочке папиросы и, чиркнув спичкой, закурил.

Свет на мгновение ослепил Зинаиду, и она закрыла глаза.

Хорошо взбитая перина нежила расслабленное тело, и резче обозначалась усталость, а мозг требовал сна, но взвинченные нервы не давали покоя, и Зинаида не оставляла свою навязчивую мысль, вбивая ее в голову мужа:

– Почему все ты? В конце концов, у нее есть еще две дочки. Пусть у них о матке тоже голова болит.

– Квартиру-то мы с матерью получали, — подал, наконец, голос Николай. От сильной затяжки его лицо вспыхнуло красным огоньком и, мелькнув двойным подбородком и мясистым носом, погасло.

– А на двух детей все одно трехкомнатную дали бы, — живо откликнулась Зинаида. — Так что и без матки получили бы.

И замолчала, ожидая, что скажет теперь Николай.

– К Катьке нельзя, — стал сдаваться Николай. — У нее одна комната.

– Ну-к что ж? — повеселела Зинаида. — Не танцы же они там будут устраивать.

– Так Катька-то с мужиком живет, — удивляясь Зинкиной тупости, сказал Николай, поворачивая к ней голову и забывая затянуться папиросой, а она уже еле мерцала нераскуренная.

– А он там не прописан! — бойко ответила Зинаида.

– Для того чтобы с бабой спать прописки не требуется, — осклабился Николай.

Зинка почему-то обиделась, но дулась недолго, потому что надо было доводить дело до конца.

– Тогда к Тоньке, — подумав, решила Зинаида. — У них тоже трехкомнатная.

– Ага, а две девки не в счет? А Верка, племянница

Федора, не в счет?.. Между прочим, Валька беременная ходит.

– Да ты что? – засмеялась Зинаида. – В самом деле?

– Ну-у? Тонька мне вчера сама сказала. – И уж, говорит, сделать ничего нельзя.

– Во, девки пошли! Соплячка ж еще совсем.

– На это ума не надо, – буркнул Николай. – Семнадцать лет по нынешним временам – самый для этого подходящий возраст!

– Сиди, губошлеп, – ткнула мужа в бок Зинаида и поинтересовалась:

– Сказала хоть от кого?

– А чего говорить-то? С кем ходила от того и брюхо.

– Это курсант, мидиционер-то этот?

– А то кто же?

– Не отказывается хоть?

– Попробовал бы отказаться, – Николай глухо, как в бочку, кашлянул.

– Уж родителям написали, о свадьбе сговариваются.

Удовлетворив свое женское любопытство, Зинаида вернулась к старому разговору:

– Так что ж с маткой-то? – спросила она.

– Уж тогда давай к Катьке, – решил Николай. – Катька младшая. Мать ее любит больше всех.

Зинка успокоилась и быстро уснула. Она свернулась как кошка, калачиком, уткнув голову в плечо мужа и обняв его рукой. И в еще некрепком сне сладко причмокивала губами, пухло выпячивая их и невнятно что-то договаривая уже во сне...

Старую Василину донимали ноги и мучала бессоница. Ноги грызла ревматическая боль. Невестка и дочки называли это отложением солей, а врачаха называла по мудреному, но как не называй, ноги болели, и никакие растирки не в силах были помочь. «Отрезать, да собакам бросить», – шутила Василина, когда ее спрашивали про ноги, сочувствуя.

Она лежала с открытыми глазами и терпеливо ждала, пока сон возьмет ее, но сон не брал и, как всегда, перебирала Василина по кусочкам свою жизнь, не сетуя на судьбу, с покорностью принимая все, что судьба ей назначила, и выжимая из этого те крохи счастья, которые на ее долю выпали. И получалось так, что эта скудная доля хорошего заслоняла все плохое, которого было в ее жизни значительно больше.

Прошное мешалось с настоящим.

Вдруг всплыло заросшее лицо батьки Кондрата Сидоровича, угрюмого и свирепого в трезвости, развеселого и щедрого до последней рубахи в пьяном виде, мужика.

Батька вывалился из кабака и пьяно заорал:

– Эй, залетные!



И залетные, ватага деревенских ребятишек, приученных уже дурной Кондратовой причудой, «подавала» с гиком небольшие сани, в которые сами и впрягались, и шумно везла дядьку Кондрата на потеху деревне, возвещая:

– Галеевский царь едет!

«Галеевский царь» важно восседал в санях и царским жестом раздаривал конфеты и пряники, выгребая их из обширных карманов овчинного тулупа, и разбрасывал направо и налево.

Вспомнив тот стыд и страх, который они принимали за батьку, Василина горько улыбнулась.

Их дом стоял на пригорке, как-то особняком от деревни. Чтобы подняться к дому, нужно было спуститься в небольшой овражек и пройти по бревну через неширокий ручеек. Невольно Василина снова улыбнулась: сколько раз пьяный батька возвращался с песнями домой, столько раз, оступившись, купался в этом ручье.

Овраг окружал дом с трех сторон; с четвертой стороны, за огородами, было поле, а сбоку, через овраг, сразу за березовой рощицей начинались леса. Брянские леса уходили в необозримую даль, закрывали горизонт, заполняли весь видимый простор.

В лес девки бегали по грибы и ягоды. Спускаясь в овраг, чтобы выйти к березняку на противоположной стороне, они шли протоптаной тропинкой среди зарослей папоротника, который особенно буйствовал у ручья.

От этого оврага тянуло подвальной сыростью, но он ласкал прохладой перегретые солнцем тела и в летний зной был истинно райским уголком, тенистым

от густых крон разросшихся кленов с черными бархатными стволами, тонких сочных рябин и пышных, как купчихи, раakit.

Папоротник. Он остался в сердце милой памятью и виделся как спутник детства, свидетель той далекой жизни со всеми ее тревогами и поворотами, которая пролетела мгновенным сном, и иногда ей казалось будто она в этой жизни посторонняя, будто волшебная птица Симвург взмахнула крылом, приоткрыв на миг простор чужой чьей-то жизни, и снова закрыла, завесив ночью и пустотой, словно перечеркнув все, что было.

Папоротник часто снился ей во сне, а иногда тропинка через овраг вставала перед ее полусонными глазами, как на яву, и она ясно видела сочную зелень папоротника, раздвигала его руками, шла через ручей и взбиралась по крутой тропе к березняку. Цветных снов Василина не видела, но папоротник ей снился всегда зеленым.

И снова всплыло вдруг лицо батьки, который сгинул в японскую, оставив трех девок и двух ребят на материных руках. Кормильцем стал старший брат Пётр.

Комната вдруг осветилась ярким светом. Свет прополз от стенки к стенке, передвинул с места на место тени и пропал. Это машина развернулась во дворе и пробежала фарами по дому. Василина моргнула, защищаясь от неожиданной вспышки, но внезапно полыхнуло огнем и отсветы его, багровые и белые,

заплясали перед ее глазами — горел дом помещика Малахова, языки пламени жадно жрали дерево, потрескивали высушенные летним солнцепекком доски и лопались стекла. Перепачканные сажей ребятишки весело шныряли в толпе взрослых, звонко перекликались и лезли в самый огонь, по неразумению своему радуясь пожару, точно празднику.

Мужики угрюмо смотрели на пылающий дом, зная, что добром это все не кончится. Бабы овцами жались друг к другу, всем нутром чувствуя надвигающуюся беду. Кто-то заголосил, но голос оборвался, как током ударив по натянутым нервам. Даже босоногая ребятня вдруг угомонилась, и тревожная тишина на какую-то минуту повисла над Галеевкой. Только искры рассыпались треском над головами, и шумело пламя над еще не рухнувшей крышей.

Папоротник стал расплываться сплошной зеленью и темной завесой опустился на глаза, обрывая цепь воспоминаний.

Василина было задремала, но где-то над квартирой вдруг взорвалась музыка. И сразу стихла. Только в уши теперь назойливо полезла плясвая.

Без тебя мой дорогой,
Без тебя мой милый,
Без тебя, хороший мой,
Белый свет постылый.

Шумела свадьба. Гуляла деревня. Василина выходила замуж за Тимоху, работающего, но тоже бедного, мужика, способного ко всякому, особенно к плотницкому, делу.

Ставь-ка, мама, самовар,
Золотые чашки,
Приведу я гостя к вам
В вышитой рубашке.

Тимофей пришел жить к ним, и они стали потихоньку строиться на том же холме, рядом с родительским домом.

А через год, когда она родила первого, Федю, деревня опять пьяно плясала, только веселья уже не было. То тут, то там начинала биться в голос будущая вдова. Василине врезался в память пьяный Кирюха. Он ожесточенно бил пяткой, обутой в лапоть, в землю и, поводя руками по сторонам, как-то отчаянно осипшим голосом орал:

Ты не лей по мне, Матрена,
Слезы лишние –
На Ерманскую войну
Гонют тышшами.

А в мутных глазах угадывалась тоска и дрожали слезы.

Изба осталась недостроенной, и Василина часто заходила в свой новый дом, чтобы поплакать без свидетелей, ходила по изрубленным стружкам и молила Бога, чтобы отвел смерть от Тимофея и брата Петра.

Раз в год, на Яна Купалу, папоротник цвет. Если сорвать его ровно в полночь, то откроется клад. Об этом, замирая от страха, рассказывали полушопотом подруги, а раньше Василина слышала об этом от бабушки Фроси, когда собирались у нее на посиделки вечерами, и кто-нибудь заводил упоительно-жуткий разговор о нечистой силе. Говорили, что Васька Ермаков разбогател через цвет папоротника.

Тимоха пришел домой с простреленной ногой. Была задета кость, и нога долго не заживала. Так он и остался хромым. В непогоду нога донимала ноющей болью, словно кто водил по оголенной кости наждаком.

А Петр с войны не вернулся.

Дети пошли один за другим. Сначала Марья, потом Алексей, Иван, Авдотья. Двенадцать человек. Дарья и Авдотья жили отдельно, своими семьями. При ней оставалось четверо: Антонина, Николай, Катя и Юрий, которого она звала Егором. Эти уберегла. Эти были младшие. И всю войну находились при ней, кроме Егора. Егор воевал и вернулся контуженный, но живой.

Четырех отдала фронту, а вернулся только один. Иван и Алексей погибли, один под Сталинградом, другой в чужой стороне, когда уже война шла к концу. На них она получила похоронки. А Петр, первенец, любимый Тимофеев сын, пропал без вести. Но

Василина все надеялась и верила, что он жив и мыкает горе в плену. Ждала, пока шла война, и потом ждала, что объявится. И сейчас в глубине души верила, что где-то на чужбине Петр мается, тоскует по Галеевке, не может вернуться, потому что держит его что-то там, и не может он дать весточку, знак о себе. Грунюшку и Васятку унес тиф. Нюра умерла от простуды. Это было давно, еще до рождения Антонины, которой уж, считай, самой за пятьдесят будет.

Но у нее в живых осталось еще шестеро детей. Четверо здесь. Марья, самая старшая, далеко, на Камчатке. Изредка приходит письмо на Антонину, где Марья спрашивает, жива ли еще мать, и поклон передает. Авдотья, та живет в Запорожье. Тоже пишет, тоже про мать спрашивает.

Василина прикрыла глаза и зашевелила губами, зашептала: «Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша имене Твоего ради. Господи, помилуй».

Прочитав молитву, она забылась в тревожном сне, невольно вздрагивая и просыпаясь от каждого шороха...

На следующий день, в субботу, пока Николай спал, Зинаида собрала свою младшую, Анджелку и отправила в школу. Старшая, Алевтина училась во вторую смену и тоже еще спала. Зинаида стала готовить завтрак. Часов в девять встал Николай, и

Зинаида принялась тормошить Алевтину, которая, судя по открытому рту и сладкому посапыванию, спала крепко.

Бабка Василина уже поднялась и сидела в комнате на диване, ожидая, когда ее позовут есть.

За столом Зинаида была не в меру оживлена, старалась угодить Василине и подсовывала ей лучшие куски, но та, казалось, этого не замечала. Она вообще к еде была равнодушна и ела мало, все больше чай, да молоко.

Николай уткнулся в свою тарелку и, не поднимая глаз, с аппетитом уплетал картошку с колбасой, которую Зинка доставала через свою знакомую, буфетчицу Клаву. Зинка поняла, что Николай нужного разговора все равно не начнет, и решила это сделать сама.

– Мам, а мам, – весело позвала она. – Что если мы тебя свезем к Катьке? У нее поживешь чуток.

Василина оставила кружку с чаем и захлопала подслеповатыми глазами, сияясь вникнуть в слова невестки и понять, шутит она или что? Зинка доброжелательно вертелась возле нее и делала вид, что ничего особенного не случилось. Василина вопросительно посмотрела на сына, и тот, поерзав на стуле и неловко откашливаясь, поддержал Зинку, будто разрешил.

– А чего? Поживи. У Нюрки тихо. Сколько уж у нее не была?

Василина молчала и словно чего-то ждала. Николай невольно отвел глаза и, обращаясь к Зинке, поспешно добавил:

– Надоест у Катьки, назад заберем.

Василина, ни слова не проронив, пошла в свой угол, где стояла ее по-детски тощая железная кровать, на которой она часами неподвижно сидела, шевеля губами, занятая своими мыслями. Она вспомнила, что вчера вечером сын с невесткой в разговоре, обрывки которого до нее долетали из спальни, часто поминали ее, и теперь догадывалась, что невестка затеяла этот разговор, кончившийся для нее неприятностью. Но на невестку за это не обижалась, понимала – мешает...

Когда Николай заглянул в детскую, где стояла кровать матери, он увидел, что мать собирает в узел свои вещи. На кровати лежал образ Николая Угодника, который стоял обычно на шифоньере, в углу, потому что Зинаида вешать икону на стену не разрешала.

На Анджелкином диванчике сидела Алевтина и, насупившись, следила за бабкой. Она покусывала губы, чтобы не зареветь от жалости.

Николай, ничего не сказав, повернулся и пошел на кухню, где Зинка мыла посуду.

– Мать укладывается, – сказал он хмуро.

– Сейчас поедем, – не поняв его настроения, бросила Зинка.

– Вроде как-то нехорошо! – сморщился, как от зубной боли, Николай.

– А мне хорошо?

Зинка с силой бросила мокрую тряпку в мойку и в сердцах громыхнула кастрюлей. И вдруг тоненько заскулила, загундосила:

– Тебе, черту, что? Пришел, пожрал - и в свой гараж. Морду кверху в гайки уткнул и лежи. Паразит. Под своей машиной как баба беспутная под мужиком, готов сутками пролеживать. А я дома с маткой твоей. Во все дырки нос сует... И все подкалывает, все с подковырками. Ну-ка, попробуй. Это не так, и то не этак. Она же меня всю жизнь ненавидит. Я знаю... А я ее должна терпеть? Накось вот, выкуси! – сунула она кукиш из гладких, толстых, как сардельки, пальцев к носу Николая.

Тот столбом стоял посреди кухни и хлопал глазами, даже не пытаясь остановить поток кипящих злобой слов распаленной Зинаиды.

Но когда Зинка сунула ему в нос кукиш, его лицо начало наливаться кровью, и желваки от сильно стиснутых зубов заходили на скулах.

Зинаида спохватилась и, гася мужнину ярость, бросилась ему на грудь, с безошибочной женской интуицией мгновенно определив ту единственную манеру поведения, которая не даст разразиться скандалу, и разрыдалась.

– Ладно! Будет! Будет, – стал успокаивать ее Николай и, снисходительно похлопав по боку, словно телку, отстранил от себя.

– Пойду выведу машину, – сказал он и пошел к вешалке.

– Я ж не враг какой твоей матке, – всхлипывая, заговорила Зинаида. – Пусть хоть с месяц побудет у Ньюрки. Дай мне-то передых.

Часам к одиннадцати собрались. Анджелку с собой брать не стали, и она, надув губы, пошла реветь в детскую.

Василину с узлом усадили на заднее сидение, и «Жигули» небесно-голубого цвета мягко покатали по асфальту.

Катерина жила в двухэтажном деревянном доме на втором этаже. Узел тащила Зинаида, а Николай вел мать по шатким ступенькам, поддерживая под руку.

На звонок никто не ответил, и Николай, пошарив под половиком, достал ключ и открыл дверь. Ждать Катерину не стали и, оставив Василину, уехали.

Осмотревшись и разобрав узел, Василина села на диван. Комната у Катерины была небольшая, но все как у людей. И диван, и зеркало, и на полу красивые дерюжки. Шифоньер отделял диван от Катькиной кровати, которая стояла за дверным выступом, и получалось что-то вроде отдельной спальни. У Кольки, конечно, побогаче. Василина вспомнила вазу, которую приволокла Зинка и поставила в коридоре, в углу, возле комнаты, где Василина спала с Алевтиной. Когда проходишь мимо, она шатается и глухо звенит,

будто грозитя. Лишний раз из комнаты не высунешься, чтобы не зацепить, да не разбить. Глазато еле видят. А днем девку покормить надо. Маленькая все ж, все подать нужно. Как теперь будут?.. Да вертлявая очень девка-то. Так из рук все и выбивает. А они, руки, и впрямь, что крюки. Вот и выходит, то тарелку, то стакан расшмакаешь. А Зинка, когда придет к обеду, когда нет. Теперь, хошь не хошь, придется ходить каждый день и Анжелку и Алевтинку кормить. Назовут же, прости Господи, басурманским именем. Батюшка и то крестить Анжелку под этим именем отказался. Анной нарек.

Зазвонил звонок, и Василина с крехтом стала подниматься с дивана. Пока она дошла до двери, звонок еще позвонил два раза, сначала коротко и резко, словно бранился, потом нетерпеливо и требовательно.

– Господи, – переполошилась Василина и никак не могла справиться с замком.

– Мам, ты? – спросила Катерина из-за двери, и в голосе ее было беспокойство.

– Я! Я это, Кать! – поспешила отозваться Василина.

– Ты крути ключ-то в другую сторону, вроде закрываешь. Он, замок, у нас наоборот поставлен, – объяснила Катерина. Замок, наконец, поддался, и дверь открылась.

– Ты как приехала-то? – спросила Катерина.

– Колька на машине привез. Совсем я. Буду у тебя жить теперь.

– Как так?

– А так, что там ненужная стала. Мешаюсь я там.

– Ну, гад ползучий! Ну, жлоб ... – Катерина захлебнулась от возмущения. – А все Зинка, паразитка. Ее это дело.

– Мам, ты что, лежала, что-ли, на диване-то? – бросив взгляд на сбитое покрывало, обиженно сказала Катерина. – Хоть покрывало-то сняла бы.

Василина неловко сползла с насиженного места и устроилась на стуле. Катерина свернула и убрала покрывало в нижний ящик шифоньера.

Сожитель пришел к ночи, когда Василина уже устроилась спать - Катерина постелила ей на диване, - и все вздыхала и ворочалась, приспособивая свои кости к новому месту. Он, по всему видно, был на сильном веселе, потому что фордыбачился, пытался петь, и на кухне что-то гремело и падало, а Катька все уговаривала его и о чем-то просила. Потом Катерина вела его мимо Василины, придерживая за бок, а он старался идти на цыпочках, приложив палец к губам, будто приказывал себе не шуметь.

В Катькином углу какое-то время слышалась возня, предостерегающий Катькин шепот, и даже отпечатался звонкий шлепок по голому телу; потом все стихло, и Василина услышала мерный храп.

«Тоже Бог счастья не дал, – подумала Василина. – Свой был мужик беспутный. Так от водки и сторел. И это не мужик. А с другой стороны, как одной? Плохо без мужика-то в доме. Это она по себе знает. Тимофей умер, когда ей, слава Богу, за семьдесят уже было. А как тяжело без него приходилось. А Тимофею жить бы да жить. Все война, будь она проклята. В ключах сколько с коровой простаивал, от немцев прятал!.. От этого и помер».

Василина вздохнула, жалея дочку.

К вечеру, к Катиному приходу, она наварила картошек и радовалась, что смогла хоть чем-то помочь дочери.

Ужинать сели вместе. Катерина достала огурцы и разогрела картошку.

За столом Катерина все больше молчала и украдкой поглядывала на мать, словно что-то хотела сказать и не решалась.

– Мам, – сказала она наконец, когда поели, и Катерина стала собирать со стола посуду. – Что, если я тебя отвезу к Тоньке? И не ожидая ответа, заговорила торопливо, объясняя, почему так нужно:

– На время, пока Лешку уговорю. Бойтся он тебя. Не хочу, говорит, с матерью. А то, говорит, решай сама, как знаешь.

Катерина посмотрела на мать. Та молчала, лицо ее оставалась спокойным, и в глазах не было осуждения, но Катерине стало не по себе.

– Уйдет ведь, – еле слышно сказала она, и в голосе ее была боль и растерянность.

У Василины сердце сжалось от жалости, и она, как умела, успокоила:

– Неруш, дочка! Э-э! Мне хоть тут, хоть там – все одно. Лишь бы крыша над головой, – соврала она. – А ему, оно, конечно. На любого доведись, ну-ка попробуй...

К Антонине ехали на автобусе. На поворотах Василину заводило в стороны, и она моталась на заднем сидении, заваливаясь то на один бок, то на другой. Узелок мешал ей держаться, но она не выпускала его и крепче прижимала к коленкам.

Встретили ее хорошо. Усадили за стол, и зять Федор даже достал бутылку белого, которую почти один и выпил. В разговоре стали ругать Николая за мать.

– Это все Зинка, подлюка. Она им, дураком, как хочет крутит, а он только бельмами ворочает, как баран дурной, – высказалась Антонина и свирепо глянула на Федора, который все подливал себе в рюмку.

– Этому лишь бы выжрать, – осадил ее мимходом, скорее, по привычке, чем по необходимости, и продолжила разговор с Катериной:

– Я ему, дундуку, покажу. Барин какой. И эта утка раскоряченная. Ну как ты думаешь? – раздраженно вдруг заговорила Антонина, обращаясь к Катерине. – У меня две девки. Опять же, Верка, племянница Федькина, у нас живет. Ни кола, ни двора. Замуж

собирается, а где жить будут, еще не известно. И куда я матку? – спросила она Катерину в упор. – Нет уж. Он, паразит, квартиру получил вместе с маткой. Погостить, пожалуйста!.. Мам, ты побудь денька два, я разве против? – живо повернулась она к Василине. – А завтра я к этим схожу.

И замолчала. Федька тяжело встал из-за стола и под ненавидящим взглядом Антонины, слегка пошатываясь, пошел в свою комнату.

– Господи, вот свинья-то, – не удержавшись, бросила она зло в спину мужу, но тот даже не огрызнулся.

Василина прихлебывала чай из большой фаянсовой кружки, который пила по давней привычке вприкуску, макая сахар в чай. Она молча слушала, о чем говорила Антонина, и время от времени кивала головой, соглашаясь со всем, что та говорила.

Уложили Василину в зале на диван. Василина долго ворочалась и охала, пока нашла удобное положение, при котором боль в суставах не так беспокоила.

Уже засыпая, она вспомнила младшую сестру Дарью и пожалела ее. Все сыновья ее сложили головы, четыре сына, кровь и плоть ее, на этой войне. От слез ослепла Дарья. А живет еще. «Лет девяносто есть», – прикинула Василина.. Недавно зять, Федор, Тонькин муж, в Галеевке был, весточку привез. «Ох-хо-хо, – подумала

вдруг Василина, – долго живем, лишнее уже. И ноги не ходят, и руки не держат». И вспомнила, как вчера утром из рук у нее выскользнул стакан и разбился. Невестке она про стакан ничего не сказала, а собрала осколки и выбросила в мусор, затолкав поглубже.

– Теперь уж скоро Господь приберет. И меня, и Дарью, – успокоила себя Василина и, закрыв глаза, задремала.

Утром Василина собрала свой узел, взяла клюку, без которой на улицу не выходила, и пешком отправилась к самому жалкому своему сыну, Егору. Этот не прогонит. Сам хворый, потому и понимает лучше других, что такое немощь. И душа у него Богу открыта, хоть и партейный.

У Егора Василина прожила недолго, хотя ей было там покойно. Невестка Клавдия к ней отнеслась по-доброму и не притесняла, но Егор часто болел, и Василина видела, что она живет здесь обузой.

Она упросила Николая взять ее назад, а когда Катеринин сожитель в очередной раз от нее ушел, ее опять отвезли к Катерине.

Она плохо видела, из дома не выходила и все больше неподвижно сидела на диване, на котором и спала. Катерина, уходя на работу, закрывала ее на замок, и Антонина, изредка навевываясь, чтобы справиться о ее здоровье, разговаривала с ней через дверь. Она жалела мать, но понимала и Катерину.

Василине было за девяносто, и была она немощна, а поэтому неловка, часто била посуду, не всегда успевала дойти до туалета и оставляла за собой следы на полу. В комнате стоял нежилой дух, который никогда не выветривался. Свои притерпелись, а свежий человек с улицы долго в квартире не задерживался и под всяким предлогом спешил уйти. Василина и сама была себе не рада, видела, что зажилась, просила у Бога смерти, вся высохла и неизвестно, в чем душа держалась, а жила и жила. Без пользы, без толку...

Померла Василина днем. И померла как-то буднично. Утром встала, выпила с дочкой Катериной чаю. Посидела, по обыкновению, на диване. Потом легла и затихла. Катерина даже не заметила, когда Василина померла. Позвала: «Мамк, что будешь обедать?» Не получив ответа, через некоторое время подошла разбудить, а мать холодная. Катерина зажала ладонью рот и тихо охнула: «Ой, да что же это!» и вдруг заскулила по-собачьи, запричитала и вместо своих обид на мать почувствовала внезапный стыд от того, что сама обижала ее окриком, напрасной придиркой или выговором за пустяк. Уже и самой Катерине было за пятьдесят, и мыслью она свыклась, примирилась со скорой материной кончиной и, чего скрывать, в сердцах грешила иной раз в мыслях, желая скорой смерти Василины, — грелась, змеюкой

свернувшись в душе, такая надежда, - а теперь горе было неподдельное, и сердце разрывалось от безысходной тоски. И Катерина впадала в полубморочное состояние и плохо соображала, не зная, куда бежать и что делать дальше.

Обмывали и прибирали покойную старухи-соседки. У Василины лет пятнадцать как все было на смерть собрано, и она при жизни любила перебирать и перекладывать единственное свое богатство: новое сатиновое платье, полотняную нижнюю рубаху, ситцевый платок, тюль, туфли, наволочку, ленту для рук и ног, чтобы не расходились – все новое, ни разу не надеванное.

Теперь Василина тихо лежала в тюлевом гнезде, прямая и торжественная. На лице застыло безмятежное спокойствие, и проваленный рот тронуло подобие улыбки, будто она, освободившись от мирской суеты, достигла, наконец, желаемого счастья. Глаза впали, и затененные глазницы казались неестественно глубокими, заострившийся нос смотрел в потолок, а кости обтянутых пергаментной кожей рук лежали, сложенные на груди, и, выполняя последний работу, держали зажженную тонкую свечу, которая сливалась с руками и, казалось, была восковым их продолжением.

– Деньги на похороны собирали по частям. Сотню заняла Катерина, семьдесят рублей дала Антонина, сто дал Егор.

Сын, Николай, снял с книжки двести пятьдесят рублей, но был недоволен, ходил хмурый, молча сопел, гася раздражение, и все же не вытерпел и выговорил сестрам, упрекнул за то, что дали мало денег, а дома выплеснул обиду, жалуясь жене:

– Чурки, чертовы! Когда ни коснись – все денег нет.. А на водку мужикам находят. Федька, тот вообще спился.

– Да почти каждый день захлестывает, – поддакнула жена.

– Ну ладно Катерина, та с мужиком не расписана. Лешка хочет придет, хочет уйдет. Считай, что одна. Эту жалко. А эта. Даром, что сестры. ... Николай устрой, Николай дай. Что я, обязан, что ли?

Антонину попреки брата задели за живое. Она пошла красными пятнами и злобно зашипела на Николая:

– Где я возьму? У меня три девки. И жрать, и одевать надо! Что мне, с неба рубли валятся? Сколько могла, столько и дала.

А Катерине сказала:

– Ничего не сделается. Пусть мощной потрясет. Как сыр в масле катается. Сам по триста рублей получает, и Зинка в магазине работает.

Антонина промокала глаза платком. А Катерине при мертвой матери разговор был неприятен, и она отмолчалась.

Николаю пришлось помотаться. Он заказывал гроб,

торговался с могильщиками, ездил в магазин ритуальных услуг за венками, закупал водку и продукты. Его старшинство безоговорочно признавалось родственниками, он покрикивал на сестер, готовивших поминальный ужин, распоряжался, с ним советовались по разным вопросам, связанным с похоронами и столом.

С кладбищем чуть было не вышла промашка. Хотели похоронить, как просила Василина, рядом с мужем Тимофеем на Крестительском кладбище. Но родственникам сразу отказали по той причине, что кладбище переполнено, а на памятнике мужу стерта надпись. Николай заметался. Бросился туда, сюда. В нотариальной конторе даже попытался делопроизводительнице сунуть четвертной, но та скосив глаза на сослуживицу за соседним столом, вдруг заорала ненормальным голосом:

– Как вы смеете? Да за это знаете что? ... Уберите немедленно.

И, упиваясь своей честностью, вдруг надулась индюшкой и завертела головой во все стороны, словно проверяя реакцию на свой героический поступок, хотя в комнате, кроме одной сослуживицы, больше никого не было.

«Чтоб тебе пусто было», – ругнулся про себя Николай, поспешно пряча деньги в карман.

Сунулись на новое кладбище. У черта на куличках – это ладно. Так ни кустика ведь, ни деревца. И

ровные, как кровати в солдатских казармах, ряды могил – без оград, одна в одну. «Как огурчики», – довольно хохотнул невесть откуда взявшийся могильщик. От него несло сивухой, свекольное лицо светилось неуместной веселостью.

– Где будем копать, хозяин? – поинтересовался он и слегка качнулся.

Катерина заголосила впричет:

– Не будет ей, родненькой, тут покоя ...

Николай и сам скис лимонно от этого какого-то не русского порядка.

– Чисто немцев хоронят каких. Да что мы, в самом деле-то, не русские что-ли? Без ограды, без скамейки...

Полдня просидел в горисполкоме в очереди, и вышел, облегченно вздохнув, – добился. Надпись была в самом деле стерта, но сохранился инвентарный номер, по нему нашли фамилию, а места рядом запас был: ограда стояла просторная.

Хоронили Василину с попом. Когда стали выносить из квартиры, Зинка ударилась голосить. Бабки-соседки сразу подхватили ее под руки, будто только того и ждали. Антонина с Катериной сдержанно шмыгали носами. Николай размазывал слезы по щекам, и его некрасивое лицо становилось почти уродливым от оскала неровных зубов и обнаженных десен.

Рыжеволосый батюшка, отец Афанасий, с

круглым брюшком, барабанно натягивавшим рясу, привычной скороговоркой в нос проговаривал зауспокойную молитву, глотая при этом не только концы слов, но и целые слова, завораживая, однако, красотой старославянского стиха: «Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Сам один еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя, и рекий ми: яко земля еси, и в землю отъидеши, а може вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя».

Ухоженное, сытое лицо его скучало от обыденности. Певчие, молодые женщины, все будто на одно лицо, слаженно подпевали в три голоса тонкими церковными голосами. Дело свое они знали туго, успевали деловито о чем-то перешептаться, пока свое гнусавил батюшка, и во-время вступить в нужном месте.

Родственников и провожающих в церковь набилось неожиданно много. От легкого подвального холодка плясали огоньки свечей, густо пахло ладаном, и святые угрюмо смотрели со стен на панихиду.

Регентша стала отбирать и гасить свечки. Певчие пропели три раза «аллилуйя», и установилась тишина.

– Попрощаемся с покойницей! – речитативом пропел батюшка, и было в его красивом баритоне что-то оперное.

– Сначала близкие.

Первым подошел Николай. Он поцеловал мать в губы и не отошел, а стал вдруг всматриваться в желтое лицо, стараясь запомнить каждую черту. Лицо его при этом мученически исказилось и опять, словно в судороге, застыло в уродливой гримасе.

Потом подошла Катерина. Она просто приложилась к губам покойницы, поправила тюль в головах и отошла с окаменевшим лицом.

Зинка с Антониной тоже целовали мать в губы и тоже вглядывались в нее, слезливо дергая веками.

Старухи смело прощались с покойницей, а молодые переминались с ноги на ногу, пропуская вперед старших, и чувствовали при этом неловкость.

– Бояться надо живых, а не мертвых. Мертвого бояться нечего, душа к Богу отлетела, а тело - тлен, — свистящим шепотом изрекла регентша. – В венчик целуйте, в венчик.

Недавно поверившая в Бога соседка Катерины Лиза, бестолково хлопотала напоказ батюшке, следя за тем, чтобы все шло как нужно, по ритуалу. Она шепталась с регентшей, с бабками, что-то наказывала на ухо Николаю, наводила порядок.

Гроб вынесли и поставили на две табуретки. Стали выстраиваться с венками. Певчие, все уже с хозяйственными сумками в руках, нетерпеливо поглядывали на церковную дверь. Вышел батюшка с

кадиллом и молитвенником в руках. Он тихо распорядился относительно порядка шествия и дал знак трогаться. Сам стал во главе и пошел первый. Процессия растянулась цепочкой по дорожке кладбища. Время от времени батюшка по-лошадиному косил глазами назад, и тогда Катерина совала ему в руку рубль из наменянной ради этого случай десятки. Батюшка ловко прятал рубль куда-то в складки рясы и еще усерднее частил старославянскими словами.

Обходя грязь и выбирая места посуше, рассеялись по кладбищу и собрались, когда могильщики стали заколачивать гвозди в крышку гроба.

И тут Катерина заголосила навзрыд, стала причитать, размеренно выпевая сквозь рыдания приходившие в голову слова.

Слова все больше подчинялись ритму и завораживали белым правильным стихом. Озаренная каким-то диким вдохновением, Катерина впала в транс, и выплескиваемые ею слова, казались бесовским наваждением и драли морозом по коже.

Зашлась в голос Антонина, выговаривая что-то бессвязное.

Старухи умиленно уговаривали с двух сторон Катерину. «Что это ты? Нешто можно так убиваться? ... На все воля божья... Господь дал, господь взял ...», — лебедями плавали елейные голоса.

Гроб опустили в могилу, бросили по горсти земли

и стали закапывать. Катерина тяжело всхлипывала и, обессиленно уронив голову, висела на старухах. Родственники разбились группами и сдержанно переговаривались, чувствуя облегчение...

Лиза стала звать помянуть усопшую. Голос ее был кроток и благочестив.

Водку разливали в граненые стаканы. Федору налили полный стакан, он выпил до дна, и Антонина прошипела с раздражением:

– Дорвался?.. Не терпится?

Седой дедушка Митяй, сосед Антонины по квартире, укоризненно покачал головой и мягко сказал:

– Что ты это, дочка? Нехай помянет ... Царство ей небесное.

Антонина промолчала...

С кладбища шли с легким сознанием исполненного долга, умиротворенные и доброжелательные не только друг к другу, но к человеческому вообще. Вблизи смерти невольно рождалось неосознанное чувство бренности своего существования, приходило смирение, а сердце очищалось от накипи и зла. Все земное и суетное казалось теперь маловажным и лишним.

Орёл, 1982 г.

К СЫНУ

Екатерина Акимовна ехала к сыну. Поезд, наконец, прибывал к вокзалу. Больше полутора суток тряслась она в пассажирском поезде от Макеевки. Постель из экономии не брала и ночь дремала на голой полке, подложив под голову сумку и старое потертое пальто с облезлым воротником.

Встречал Екатерину Акимовну сын. Она увидела его на платформе еще на ходу поезда. Он искал глазами нужный вагон, а ее не заметил. Не угадав места остановки, он торопливо шел, почти бежал за вагоном, а она уже стояла в тамбуре с двумя хозяйственными сумками, перевязанными полотенцем, и высматривала невестку с внуком.

Когда поезд встал, Екатерина Акимовна, переждав, пока сойдут передние, подала сыну сумки и чемодан и неловко слезла по крутым металлическим ступенькам сама. Обняла сына и всплакнула.

– Похудел-то как! – заметила она, вытирая слезы ладонью.

– Да что вы, мама! Еще на три килограмма поправился, – усмехнулся сын.

– А Лена-то с Алешкой чего ж не пришли? – обидчиво спросила Екатерина Акимовна. – Алеша здоров ли?

– В саду Алешка. А Лена на работе. Рабочий же день.

– Отпросилась бы.

- Да что вы, мама? Отпросилась. Я сам еле на часок вырвался. – Сейчас тебя домой отвезу – и в Управление.

Домой ехали в такси. По дороге Екатерина Акимовна крутила головой, узнавая город, где последний раз была два года назад, и радовалась, что помнит еще места, которые проезжали.

Сын открыл квартиру, показал, где взять поесть, отщипнул на ходу кусок булки, оставил ключи и побежал на работу.

Екатерина Акимовна спохватилась вдруг, подставила табуретку к окну и, открыв форточку, закричала во двор сыну:

– Я Алешку-то возьму из сада.

– Ладно, – махнул рукой сын. Ему было неловко, что мать кричит на весь двор.

– На перерыв-то домой ходите? – кричала мать.

– Лена придет, – недовольно ответил сын и исчез за домом.

Оставшись одна, Екатерина Акимовна огляделась и стала разбирать сумки. Зная, что здесь у них плохо с мясом, она привезла немного колбасы, а из дома взяла своего, домашнего, сала. Разобравшись с вещами, Екатерина Акимовна заглянула в холодильник и, не

обнаружив ничего кроме супа на дне кастрюльки и рожков, достала из морозилки мясо и положила его оттаивать в теплую воду.

Потом оделась и пошла за внуком в детский сад.. Алешка ей обрадовался. Это ее растрогало, и она принялась целовать внука в нос, губы, и даже то, что внук вытирался ладошкой после поцелуев, ее не обидело.

– Обслюнявила бабка. Вот какая противная, – весело говорила она. – А я тебе гостинчик привезла.

И, заметив нетерпеливый блеск в глазах внука, достала из кармана тряпицу, развернула ее и подала два красных леденцовых петушка на палочке.

– Я их много привезла, – сказала она.

Петушков делал ее сосед, безногий инвалид Иван Романюга, на продажу, а для ее внука отлил штук двадцать отдельно и денег с нее не взял. «Наша порода, – с нежностью думала Екатерина Акимовна, глядя на крупного внука. И выделяя чернящие глаза, большой рот и мясистый нос, с удовольствием отметила: «в батьку».

Когда на перерыв прибежала невестка, на столе уже стоял разогретый суп; рожки, облитые яйцом, шипели на сковородке, а крупно нарезанная колбаса и толстые куски свойского сала навалом, так же как хлеб, лежали на глубокой тарелке. Стол, накрытый с деревенской простотой и непритязательностью, вызывал аппетит.

Лена с порога поздоровалась с Екатериной Акимовной и, раздеваясь, мешкала, не зная, как поступить: целовать или нет, но та обняла ее сама и расцеловала троекратно по-русски.

– Алешка ел? - спросила Лена.

– А как же ж, кормила! – ответила Екатерина Акимовна и заговорила о другом.

– Я из мяса бульон сварила. Что делать, суп, чи щи?

– Я хотела из этого мяса котлет накрутить. Мясо-то любовое, – огорчилась Лена.

– Не можно котлеты делать. Как же без горячего-то? Мужика щами, чи супом кормить надо. Без первого мужик все равно, что ничего не ел. Сашка у меня без горячего никогда не был. Того и здоровый.

Лена вспыхнула, но сдержалась и промолчала ...

Она не любила свекровь. Та всегда старалась подчеркнуть лишний раз достоинства сына и показать его превосходство, и выходило, что женившись на ней, он чуть ли не осчастливил ее. А Лена вспоминала с кривой улыбкой, как ее муж, когда ухаживал за ней, часами ждал у дома, ревновал и не давал прохода, а она, принимая его ухаживания, подтрунивала над ним и изводила. Ее маме он нравился именно тем, чем не нравился ей: был добродушным увальнем, молча сносил все Еленины насмешки и краснел как девушка. Бабушка, как Джули у Голсуорси, считала, что толстые мужчины ни на что серьезное не способны и, кроме

того, как интеллигентку и чисто городского жителя, ее шокировала неотесанность Елениного ухажера. Эта неотесанность не импонировала и маме, Татьяне Юрьевне, но «за» были и другие доводы: Александр не пил, не курил и обещал быть хорошим семьянином, а неотесанность – явление распространенное – со временем стешится. А как-то, когда он, сделав что-то неловкое, и Лена с издевкой заметила: «Мужчинам краснеть вообще не прилично!», Татьяна Юрьевна укоризненно покачала головой и сказала:

– Не обращайтесь на нее внимания, Саша. Она не знает того факта, что великий полководец Юлий Цезарь предпочитал брать в свою армию тех, кто краснеет. Он считал, что эти люди наиболее мужественные и храбрые воины. Вот так-то.

Однако последнее слово было за Леной. И хотя она была от него не в восторге, ей льстило его настойчивое ухаживание, он нравился маме, да и бабушка в общем-то против него ничего особенно не имела.

И Лена сказала «да» и, не то в шутку, не то в серьез, заметила при этом: «Все равно всех женихов пораспугал».

Свадьбу сыграли скромную. Были друзья из института, где они оба учились. Приехала мать Саши. А больше у него никого из близких не было, как, впрочем, и у Лены. Так, дядьки, тетки, двоюродные сестры, тоже жившие на Украине, с ними Александр отношений не поддерживал.

Его мать Лене сразу не понравилась: распоряжалась как хозяйка, хотя в свадьбу почти ничего не вложила, а невесте подарила свой перстень.

Не понравилась она и Лениной маме, и бабушке. Назойливо и приторно стала расхваливать сына, точно на торгу, и обидела Лену, заметив, хоть и в шутку, что дома он мог бы найти дивчину и получше...

– Сварите борщ, – сказала Лена, сдерживая раздражение. – Там полкачана капусты есть. Специи в пенале, морковь в кладовой.

– Ладно уж! – согласилась свекровь.

И чувствуя, что черная кошка вот-вот пробежит между ними, Лена стала лицемерно благодарить свекровь за колбасу. Та немного оттаяла.

Чмокнув Алешку в щеку, Лена выскочила за дверь. Во дворе ее догнал голос Екатерины Акимовны. Свекровь нараспев кричала в форточку:

– После работы сразу ждать, чи задержитесь? – И было видно, что ей доставляет удовольствие вот так кричать через двор. Похоже, так она заявляла о себе, утверждаясь в роли нового жильца.

– Сразу, сразу! – крикнула в ответ Лена, оглядываясь по сторонам, но, видно, ее голос прозвучал тихо, потому что из форточки опять раздалось:

– Я грю, чи задержитесь, чи шо?

«Как на базаре», – зло подумала Лена и, не ответив,

только махнула рукой и поспешила пересечь двор, так как Алешка тоже лез к форточке, отталкивая бабуку.

Захлопнув форточку и отогнав внука от окна, Екатерина Акимовна стала готовить борщ.

«Нешто такая жена Сашке нужна?» – в который раз думала про невестку Екатерина Акимовна. Сама была она женщиной крупной, жилистой и невестку мечтала видеть по вкусу своему, крупную, упитанную.

Лена была хоть и лицом и фигурой ладная, ничего не скажешь, но очень уж хрупкая, не работник. Того и гляди рассыплется. Екатерине Акимовне по душе были круглолицые веселые хохлушки с синими глазами. У этой же и глаза были зеленые, холодные, и вся она была неприветливая. «Матерью так ни разу и не назвала. Вы да вы», – вспомнила она и вздохнула, жалея сына.

Первое время молодые жили у Лены, в квартире матери. После института Александра, как комсомольского активиста пригласили работать в горком комсомола, а вскоре он перешел работать в какую-то серьезную организацию, и когда родился Алешка, им дали двухкомнатную квартиру в крупнопанельном пятиэтажном доме. Жили они в общем дружно, если не считать мелких непринципиальных ссор.

Лена помнила, что еще когда они с Сашей ехали с юга и завернули на денек к его матери, та намекала, что хорошо бы им жить вместе.

Разговор был между прочим, и Лена пропустила слова свекрови мимо ушей. Но через неделю, после того как они приехали, получила от нее письмо и забеспокоилась.

«Здравствуйте, сыночек Сашенька, невестка Леночка и внучек Алексей, – писала свекровь. – Саша, я, слава Богу, жива и здорова, чего и вам желаю. Погода у нас по весне стоит хорошая, теплая. А мне все хворается. Маюсь ногами и сердцем. Одна я тут. Другой раз и погутарить не с кем. Вот я и надумала: хорошо бы с вами жить вместе. Дом можно продать. А я мешать не стану. Буду обед варить и с внучиком сидеть, а вы своим заниматься и гулять. А то соседи спрашивают, что ж, мол, сын тебя к себе не берет. Мать, мол, вырастила, а теперь не нужна стала. Я говорю, что нет, мой сын такого не может. И невестка у меня хорошая. На этом письмо писать кончаю. Что вы мне ответите? Здоровы ли сами? Здоров ли внук Алексей? Кланяется вам низко соседка Поля, хромой дядя Игнат, что петушков делает и продает, и все знакомые. Клянюсь и я, мать ваша Катерина Акимовна».

Лена, прочитав письмо, вспыхнула:

– Если твоя мать приедет к нам, я уйду с Алешкой к маме.

– Успокойся, никто с тобой жить не собирается, – оборвал жену Александр.

– Но ты понимаешь, что это невозможно? Напиши что-нибудь, объясни.

– А почему невозможно? Она мне мать. Хочет жить с сыном, ходить за внуком. Вполне естественно. Дело к старости.

– А чем ей там плохо? Свой дом, огород, сад. Всех знает. А здесь все чужие.

– Она там одна. И зря ты возмущешься.

– Но мы ездим к ней в гости. Она у нас была. Пусть еще приезжает. Но жить вместе с твоей матерью я не смогу. Ты это понимаешь? Мы от моей матери ушли... Я сама хочу быть хозяйкой. И меня не надо освобождать от обедов. Я согласна лучше готовить десять обедов в день...

– Лена, – перебил жену Александр, – я не собираюсь приглашать мать жить с нами, Я просто говорю, что ее желание жить в семье сына – естественно, и она имеет право требовать от сына внимания и помощи,

– Но моя же мама не требует от нас помощи. Твоя хоть раз какую-нибудь тряпку купила Алешке? А моя одевает его и обувает, да еще нам жратву тащит.

– У моей нет такой возможности. Она пенсионерка, больной человек. Стыдно от нее чего-либо требовать, – обиделся Александр.

– Знаешь что? Пенсионерка. Моя бабушка до шестидесяти четырех лет работала. И мама, я знаю, будет работать. В нашей семье заведено так, работать. А в пятьдесят лет отдыхать? С сорока рублями

пенсии... Извини, но я этого не понимаю и, наверно, не пойму никогда.

– Ну хватит! – вышел из себя Александр. – Успокойся. Она у тебя ничего не просит. А помогать здоровому сыну не обязана. Твою мать тоже никто не просит.

– Не просит. А когда гостила в прошлом году, на обратную дорогу денег не было.

– Стыдись, – краснея, сказал Александр, и ушел в спальню.

Лена заплакала. Она и сама чувствовала, что наговорила лишнего, и теперь нужно думать, как загладить свою вину.

Вытерев слезы и немного обождав, она пошла в спальню. Александр лежал на кровати и делал вид, что читает книгу.

– Саша, – нерешительно сказала Лена. – Ну прости меня... Я виновата... Я не хотела.

Александр даже не поднял головы. Видно было, что он обиделся не на шутку. И Лена хотела встать и уйти, чтобы дать ему время остыть, но муж вдруг отложил книгу в сторону и сел на кровать.

– Нельзя так, – сказал он, и Лена вернулась и села рядом с ним. – Она моя мать. Конечно, у нее много своих недостатков. Но чего ты от нее хочешь? Она простая, необразованная женщина со своими понятиями о долге и со своими, пусть допотопными,

взглядами на жизнь ... И то, что для тебя условности, для нее – образец поведения. И не надо подгонять ее под мерку твоего отношения к своей матери. Надо быть терпимей.

– Хорошо, больше не буду... – примирительно сказала Лена и поцеловала мужа в щеку. – Но ты же не хочешь, чтобы она действительно приехала к нам жить?

– Нет, не хочу. Завтра напишу письмо, все объясню... Я вообще не думаю, что она сама серьезно что-то решила. Там соседи обивают с толку. Из письма ясно ...

Но Лена уже не слушала мужа. Она гладила его по волосам, теребила пальцами кончик уха, и постепенно ее заполняло желание. Целуя мужа в шею, она покусывала кожу губами, и глаза ее, когда она их поднимала, чтобы поймать выражение его лица и найти в них согласие, маслянно поблескивали из полуприкрытых век. Он взял ее лицо в свои руки и стал целовать в губы ...

После близости с мужем она лежала обессиленная с закрытыми глазами и чувствовала, что вся она, каждая ее клетка заполнена благодарностью к нему. Приподнявшись на локте, она дотронулась до его лица и нежно поцеловала в лоб, коснувшись его обнаженной грудью. Потом встала, чтобы поднять с пола свалившийся халат. Она не стеснялась своей

наготы перед Александром, потому что все, связанное с вопросами любви, считала естественным и не стыдным, и Александр всегда с удовольствием смотрел на ее стройную фигуру, довольно массивную грудь, которая не выделялась, когда Елена была одета, и узкие бедра, придававшие ее фигуре спортивный вид. Обнаженная, Елена впечатления хрупкой не производала ...

На следующий день Александр отправил матери письмо:

«Здравствуй, дорогая мама! Письмо твое получили. Признаться, письмо меня удивило. Ты пишешь, что хочешь продать дом и приехать к нам. Продать все можно, потом вернуть назад трудно. Так нельзя. Посуди сама. В Вязках тебе каждый кустик знаком, все тебе кланяются, все тебя знают, и родственники, какие ни есть, а рядом, областной центр близко, и Донецк – рукой подать. Могилу отцову тоже не перенесешь. И за дом дадут гроши: дом не новый. А здесь за эти деньги ты даже шалаш не купишь. А в нашей квартире вчетвером жить тесно. А еще вот что я тебе скажу. Меньше соседей слушай, своей головой думать надо. В общем, пока повремени, а приедешь поговорим подробнее. Пока все. Мы все здоровы. Алеша ходит в сад. Читать никак не научился. Буквы знает, а складывать не умеет. У меня очень много работы. Погода у нас стоит плохая: идут дожди, и

грязь не просыхает, хотя снег давно сошел. Не обижайся на письмо. Целую. Твой, всегда любящий сын Саша.

Привет от Лены, Татьяны Юрьевны и бабушки. А Алешка передает привет своим рисунком, который я вкладываю в конверт».

И вдруг, как снег на голову, письмо, где свекровь сообщает, что нашла на дом покупателя и, как продаст, сразу приедет. Лена растерялась. Она плакала, упрекала мужа в том, что ему своя семья безразлична, что он не любит сына. Александр успокаивал ее, как мог, и тоже был расстроен, так как известие это было для него такой же неожиданностью, как и для нее ... Он не мог понять, почему мать так спешно продает дом, несмотря на то что его согласия на это не было.

И тогда Лена написала сама:

«Здравствуйте, Екатерина Акимовна. Мы все были очень расстроены, когда прочитали ваше последнее письмо. Саша не знал, что и думать. Что вас заставило так поспешно продавать дом? Саша вам уже высказал в письме свое мнение на этот счет. Сейчас у нас жить нельзя. В двух маленьких комнатах и втроем тесно. Алешка спит в зале, а в нашей спальне развернуться негде. У Саши сейчас ответственная работа, приходит поздно, очень устает, и ему нужен покой. Он даже Алешке не может уделить ни минуты.

Вот все, о чем я хотела написать. Целуем вас. Привет от мамы и бабушки. Ждем вас в гости».

Отправила письмо Лена авиапочтой, не подумав, что до Вязок поездом оно дойдет гораздо быстрее.

После этого письма Екатерина Акимовна окончательно похоронила надежду переехать к сыну и затаила обиду на невестку, видя в ней основную причину того, что не может жить с ними. Историю с продажей дома она выдумала.

В последующих письмах она писала, что дом продавать раздумала, что ей живется хорошо и ничего не нужно, но хочет поглядеть внука. Успокоенная, Елена приглашала ее в гости

К осени Екатерина Акимовна собралась...

Лена с работы пришла раньше мужа. Обед был готов, и стол накрыт. Екатерина Акимовна чувствовала себя хозяйкой. Она протирала полотенцем тарелки и ложки. Пока Лена переоделась и помыла руки, пришел Саша. Он купил по дороге торт, чтобы отпраздновать приезд матери. Вина ни Саша, ни Лена не пили, но у них на всякий случай всегда была бутылка водки и вино, и Лена по случаю приезда свекрови поставила выпивку на стол. Выпив водки, Екатерина Акимовна развеселилась и затянула украинскую «Йихал казак за Дунай». Саша подтянул хорошим баритоном, и Лена с удивлением посмотрела на него. Она никогда не слышала, чтобы Саша пел. И ей было немного неловко и за него, и за свекровь. К тому же, дом был панельной, и даже громкий разговор был слышен через

стены, и она вздохнула с облегчением, когда допели песню.



Постелили Екатерине Акимовне в зале на диване, а Алешку пришлось положить с собой. Александр с

Леной был ласковее, чем обычно, стараясь инстинктивно внести мир в дом теперь, когда у них гостит мать, И он, сам того не сознавая, лгал, показывая всем видом, что в тайном союзе против матери, которого, в общем, не было, он был на стороне жены.

– Теперь Алешке спать негде! – сказал он в упрек матери и обрадовался, когда Лена возразила:

– Ничего, Алешке все равно маленький диванчик покупать надо.

– Ты только не переживай. Не век же она гостить будет.

– Да я что, возражаю что-ли? Пусть живет сколько хочет.

Александр молча погладил руку жены. Он был ей благодарен...

Шел второй месяц, как Екатерина Акимовна жила у сына. Она водила Алешку в сад и забирала его, готовила приличные обеды, в которых на первом месте были настоящие украинские борщи, и не ладила с невесткой.. Ссоры начались уже через несколько дней после приезда свекрови и возникали по всякому поводу. Свекрови не нравилось, как невестка ведет хозяйство: уборку делает кое-как, деньги на продукты тратит не экономно, стирает белье – не кипятит, Алешка без пуговицы на курточке ходит. «Дом вести – не лапти плести», – сказала она как-то Лене. Лена

огрызалась, просила не совать нос не в свое дело, жаловалась мужу.

Александр жил как на вулкане, метался от одной к другой, мирил, а сам становился раздражительным и дерганым. А у Лены росло раздражение против мужа. Его мать ставила ее как жену и хозяйку ни в грош, и она мстила за это мужу. Временами она почти ненавидела его. И когда он приставал к ней с ласками, она, всегда исполненная желанием, всегда с удовольствием уступавшая ему, теперь грубо отвергала их. По воскресеньям, если муж дежурил, она с Алешкой уходила к своей матери и домой возвращалась только к вечеру, когда муж был уже, дома. Татьяна Юрьевна и бабушка к ним не ходили.

Александр весь извелся. Ему жалко было жену, и мать не хотел обижать. Но однажды, когда мать сцепилась с Леной из-за Алешки, Екатерина Акимовна заявила, что Лена не дает ему есть после сада, и он ходит голодный, на глазах тает, он взорвался самым неприличным образом, Грубо толкнул жену в спальню и, еле сдерживая ярость, подступил к матери:

– Тебе чего не хватает? Ты что, склоки разводить сюда приехала? Чего ты хочешь? Тебе что, есть не дают? ...

– Ой, люди, сын родной мать убивает, – вдруг дурным голосом закричала Екатерина Акимовна.

Александр в испуге отпрянул:

– Ты что, сдурела что-ли? Кто тебя убивает? Опомнись, ишь, надумала. Щелкнула английским замком дверь. Это ушла Елена.

А мать голосила:

– Я-то не сдурела. Ты сдурел. Женке даешь волю над матерью измываться ... Я управу тоже найду. Пойду на твою работу. Там по головке не поглядят. И алименты матери платить будете. Я больная пенсионерка. За мать заступиться некому.

Она голосила теперь тоненько и жалостливо.

– Иди, жалуйся, если тебе хочется... А склоки не разводи. Не нравится – уезжай.

– Буду жить, сколько захочу. Поробуй, выгони. Я тебе мать, не имеешь права.

– Тебя никто не гонит.

Александр затравлено посмотрел на мать, хотел что-то сказать, но, передумав, махнул рукой и пошел к вешалке. Оделся и вышел, сильно хлопнув дверью.

Лену Александр нашел у Татьяны Юрьевны. Она сидела на диване, глаза были красные от слез. Алешка, который ночевал в субботу у бабушки, испуганно жался к матери.

Когда вошел Александр, Татьяна Юрьевна укоризненно посмотрела на него и, ничего не сказав, вышла в другую комнату.

– Ну хватит, пойдем куда-нибудь сходим! – сказал Александр, дотрагиваясь до Лены рукой. Лена уткнулась в его плечо и снова заплакала.

Вечером все сидели за столом и делали вид, будто ничего не случилось. В конце ужина Екатерина Акимовна, пряча глаза, сказала сыну:

– Загостилась я у вас. Домой поеду. Ты бы, сынок, мне билет на поезд взял.

– Что торопишься? – испытывая неловкость, спросил Александр. – Пожила б еще. Тебя же никто не гонит.

– Нет, поеду! Пора и честь знать. Да и дом без присмотра.

– Соседи же смотрят.

– Соседи соседями, а без хозяина дом сирота.

– Ну, как хочешь. Я тебе билет на субботу закажу. Недельку еще погостишь.

Скандал, после которого у всех остался неприятный осадок, на время отрезвил, и Екатерина Акимовна с Леной теперь старались уступать друг другу. Но отношения оставались натянутыми, и только помня, что свекровь вот-вот уедет, Лена сдерживала себя, хотя неприязнь к ней не проходила,

И ни разу Лена не попыталась понять ее, поставить себя на ее место.

Как-то, когда Лена была на работе, Екатерина Акимовна достала из кладовой трехлитровую банку с компотом. Банка стояла в глубине на верхней полке, и чтобы достать ее, Екатерине Акимовне пришлось стать на стул. Она с трудом дотянулась до банки, достала ее, но когда стала слезать, банка выскользнула из рук и,

грохнувшись о пол, разлетелась на части. Екатерина Акимовна не на шутку перепугалась. Она собрала осколки и поспешила вынести в мусорный ящик, тщательно вытерла пол и стала со страхом ждать прихода невестки. Когда Лена пришла на обед, Екатерина Акимовна, стараясь угодить ей, суетилась, предупреждая каждое ее движение, подавая нож, подставляя хлеб; моментально убрала тарелку из-под борща и тут же поставила второе. А когда Лена поела и собралась уходить, Екатерина Акимовна напугала ее, заголосив вдруг:

– Ой, что ж я наделала? Ой, убить меня мало, дуру безрукую!

– Что? Что случилось? – быстро спросила Лена, чувствуя, как леденеют руки.

– Ой, не могу сказать, ты меня ругать будешь!

– Да что случилось-то? Говорите, – потребовала Лена.

– Банку с компотом разбила, – выговорила свекровь.

У Лены словно камень с души свалился.

– И все? – спросила она.,

– Все, дочка, что же еще-то? – уже ровным голосом сказала Екатерина Акимовна и стала рассказывать, как уронила банку.

Лену даже передернуло. «Чуть не волосы рвала на себе, и тут же как-будто ни в чем не бывала. Надо же так притворяться! – с брезгливостью думала она.

Провожать Екатерину Акимовну к поезду пошли все, кроме Лениной бабушки. Она попрощалась с Екатериной Акимовной дома. Лена дала свекрови три рубля, чтобы она взяла постель, выпила чаю.

Когда проводник попросил провожающих покинуть вагон, наскоро поцеловались с Екатериной Акимовной и вышли на перрон. Александр чуть задержался и сунул матери двадцать пять рублей, утаенных от жены.

Купи себе что-нибудь, – мягко сказал он.

– Спасибо, сынок. Не надо бы!

И вдруг припала к его груди и молча затряслась в рыданиях.

– Ой, сынок! Ой, кровиночка моя!

И получалось вдруг, что не он мать жалеет, а она его. И это поразило его. Поезд тронулся, и он поспешил выскочить из вагона. Некоторое время все шли рядом с вагоном и махали руками. Екатерина Акимовна в ответ тоже махала рукой и вытирала слезы ладонью. Поезд набирал скорость, и провожающие постепенно отставали.

Домой шли растроганные, со сладким чувством всепрощения. У Лены на душе было легко и свободно. Александра щемила жалость к матери. Он угадал ее тоску, когда они прощались в вагоне и когда махали руками с перрона, а она напряженно стояла у окна, сгорбившаяся, и от этого ставшая маленькой, и ее тоска передалась ему.

Татьяна Юрьевна эгоистично радовалась, что Саша с Леной остались опять вдвоем. А Алешке было жалко бабушку, и он еле сдерживался, чтобы не расплакаться.

Орёл, 1983 г.

КАК ЗДОРОВЬЕ, БАТЯ?

Второй удар случился неожиданно, когда все уже, казалось, было позади, и ничто не предвещало рецидива. С самого утра Степан Иванович возился в саду: окапывал деревья, замазывал глиной стволы. Часов в двенадцать пришел младший сын Иван. О чем-то пошушукался с матерью и, когда сели за стол и выпили, стал подкатываться насчет денег на гарнитур. Лицо Степана Ивановича сразу пошло красными пятнами. Какое-то время он сдерживался и, стиснув зубы, молча слушал сына, тиская кисти своих больших рук. И не выдержал, взорвался:

– Денег?

Голос его вдруг осип.

– Денег тебе, выродку?

– Степан, ты что, господь с тобой! – вступилась было за Ваньку мать, Прасковья Кузьминична.

– А-а, потатчица!

Он всем телом подался в сторону Прасковьи, задев край стола. Звякнула посуда, колокольню загудел чугунок.

А Степан Иванович кричал уже в голос:

– Избаловала?.. Ты потакаешь! Ты приваживаешь!

Мало того, что с участка всем пользуются – и

картошкой и огурцами, так и засолку всю перетаскали. Я что, не вижу, как ты тайком то помидоры, то компоты суешь? Без набитой сумки домой не уходят ... Одному дармоеду дом купили, «Москвича» отдал, этому тунеядцу кооператив построили. И всё клянчат, клянчат! То сотню, то полсотни! Как в прорву! Я что, кую их, деньги-то? ... Заработай! ... Горбом!

Степан Иванович с силой ткнул себя в затылок. Прасковья Кузьминична, оглушенная обидой, зажав рот рукой, застыла у дверного косяка и, не мигая, молча смотрела на мужа.

Ванька, копия отца, такой же низкорослый, широкий в груди, с грубым, будто наспех вырубленным лицом, вскочил из-за стола и стоял, зло поблескивая маленькими глазками с веками почти без ресниц, а желваки бегали по скулам.

– Ну, батя, ладно! – выдавил он из себя. – Попомнишь!

– Ах ты, сука! – почти взвизгнул Степан Иванович. – Угрожать? Батьке? ... Вот тебе деньги, паразит!

И Степан Иванович поднес крепко сложенный кукиш к самому носу сына. Тот смолчал, но в дверях, надевая плащ и не попадая второпях в рукава, больно кольнул:

– С собой в гроб все не положишь!

И спохватился. Но отец уже сник и, сгорбившись,

пошел в сад. Следом бросилась перепуганная мать и по дороге, отвесив сыну подзатыльник, прошипела со страшным лицом:

– Сдурел?!

Иван почувствовал, как что-то защекотало в груди и опустилось к животу, как бывает при быстром спуске на машине. И его до отказа наполнила щемящая тоска. Но гонор взял верх, и Иван, хорохорясь, крикнул, уходя:

– Счастливо оставаться! Ноги моей у вас больше не будет.

Прасковья Кузьминична нашла мужа в конце сада. Степан Иванович сидел на скамейке, которую сыновья, еще когда жили в семье, приволокли из привокзального сквера, и водил рукой по груди, как будто ему не хватало воздуха. Прасковья Кузьминична, предчувствуя беду, курицей забегала вокруг мужа и, не зная, чем помочь, и от жалости, и от обиды за мужа, в бессилии заголосила, понося своих детей, и Ваньку и Кольку.

Степан Иванович хотел что-то сказать и вдруг стал ловить ртом воздух. Глаза выкатились, и он начал заваливаться на бок. Прасковья Кузьминична бросилась к мужу, чтобы помочь, но он уже, ничего не соображая, уцепился за нее рукой, увлекая за собой, и она, не дав упасть ему на землю, упала сама. Тут же поднялась и стала тормошить его, бестолково повторяя:

– Степан, а Степан! Степан! Ну, Степан!

Но внезапно ее как током поразило: «Он сейчас умрет», и она заорала не своим голосом, пугая соседей:

– Ой, люди! Ой, помогите! Степан умер!

Соседи сбегались и не знали, чем помочь. Кто-то стал неумело делать искусственное дыхание. Бабушка Кондратьевна из дома напротив посоветовала бить палкой по пяткам. Догадались вызвать скорую помощь...

Положили его в то же отделение, и по воле случая попал он в ту же палату, где лежал в первый раз.

Из старожилых, помнивших Степана Ивановича, в палате остался один - Сергей Матвеевич, старшина-сверхсрочник из Новокузнецка. Сняли его с поезда с приступом радикулита, когда он ехал в отпуск в Сочи.

– Как же это ты, Степан Иванович? – сокрушенно покачал головой Сергей Матвеевич, когда того привезли в палату.

Тот отвернулся к стенке, и Сергей Матвеевич, уже обращаясь к жене Степана Ивановича, сказал:

– Рановато его выписали, видно. Надо было еще полежать.

– Так вот же! – заплакала Прасковья. – Все спешил, домой хотел. И то, надоело в больнице-то. Считаю, почти месяц провалялся.

– Ну, ничего, ничего, мамаша. Не надо расстраиваться. Монголы говорят: «хама угей» – все образуется.

– Хорошо, коли так!.. Как скрутило-то, что язык отнялся, – и попросила: – Ты, Сергей Матвеевич, присмотри за ним без меня, пока я домой сбегаю. Отнесу вещи, – объяснила она. – Да соберу чего-нибудь поесть принести. Ему сейчас надо получше что.

– Не беспокойтесь, присмотрю, – Мы ж не турки какие-нибудь. Слава Богу, русские.

– Спасибо тебе, Сергей Матвеевич. Ты и тогда все с обхождением был ... Сам-то как? Лучше, нет?

– Да, вроде, получше. Теперь уж домой. Операцию делать надо. Врачи говорят, диск надо удалять. Боли, говорят, от того, что диск разрушен и защемляет нерв. Вот тебе и Сочи. До Орска только и добрался ... Да уж теперь до дома как-нибудь... Там у нас госпиталь, врачи знакомые. Помолчал и добавил со вздохом:

– По своим скучаю. Дочка-то уж взрослая, а сынишке еще семи нет.

– Ты уж, если что нужно, Сергей Матвеевич, принести, или еще там что, скажи без стеснения. Я все сделаю, – пожалела больного Прасковья и, подоткнув одеяло на постели Степана, зашпешила к выходу.

В палате, кроме Сергея Матвеевича, еще лежал молодой офицер Павел Титов, направленный из училища связи на обследование по поводу менингита, и заводской мастер Григорий Волобуев с

остеохондрозом. Несмотря на то что Григорий был только чуть старше Павла, у него, как у жука-носорога, солидно выступало брюшко, на котором не держалась резинка пижамных брюк, и они висели ниже живота. Жена его, невысокая, упитанная, под стать мужу женщина, таскала в больницу харчи целыми сумками, и когда начинала выставлять на тумбочку домашнюю снедь: котлеты, рыбу под маринадом, сырники, соленые огурцы, помидоры, компоты, становилось страшно за Григория. Но он как пузырь раздувался от удовольствия и с откровенной усмешкой поглядывал на аккуратненькие целлофановые сверточки с бутербродами с колбасой и бужениной, купленные где-нибудь по дороге в буфете, которые приносила молоденькая жена Павла. Она стеснялась этих насмешливых взглядов и старалась поскорее спрятать передачу в тумбочку...

Отходил Степан Иванович медленно. Только недели через две стал вставать с постели. Нога не слушалась, и когда он поднимал ее, чтобы сделать шаг, ступня безжизненно повисала над полом, мешая ходить. Приходилось делать усилие, чтобы поднять ногу выше, иногда с помощью здоровой руки, и со шлепком опустить ее на пол. С непривычки он быстро уставал и тогда сидел на кровати и здоровой рукой массировал парализованную руку, положив ее на колени. Костылем он не пользовался, потому что в

левой руке костыль только мешал, а правая была беспомощна. Иногда Степану Ивановичу помогала ходить сестра из кабинета лечебной физкультуры или кто-нибудь из палаты, но чаще жена, Прасковья Кузьминична, которая прибегала по два раза на день и подолгу сидела, предупреждая каждое движение мужа.

К болезни Степан Иванович относился философски и присутствия духа не терял, но стал слезливым, плакал, причем слезы появлялись сами собой, часто без видимой причины.

Как только Степану Ивановичу стало лучше, он спросил у жены о детях. О детях он думал часто. Сыновья были непутевые. Любили выпить и погулять. Поэтому и с женами жили кое-как.

Дочь, после того как вышла замуж в район, приезжала редко. Денег никогда не просила, с родителями была ласкова и, жалея их, выговаривала братьям за беспутство. А муж ее был такой же беспутный как братья, пил, и Степан Иванович догадывался, что он бьет ее, но она не жаловалась. Он хмурился и молчал.

– Дети знают, Степан! Зинке я телеграмму послала! – ответила Прасковья Кузьминична.

Степан Иванович заволновался и промычал что-то нечленораздельное, но Прасковья Кузьминична поняла: «Зачем послала телеграмму? Не надо было девку расстраивать».

Язык слушался Степана Ивановича плохо, и он, следуя советам врача, старался теперь больше говорить, напрягая органы речи и с трудом выдавливая из себя слова. При этом губы растягивались, обнажая крупные желтые зубы, а глаза сходились в щелочки, и он становился похожим на китайца. Первое время только Прасковья Кузьминична и разбирала косноязычное бормотание мужа, но постепенно его научились понимать и в палате.

– Да я ничего особенного и не написала. Так, мол, и так, отец заболел, срочно приезжай.

– Дура! – невнятно выругался Степан Иванович.

– Да ничего, ничего, Степ! Пусть приедет. Давно не была-то.

Помолчала неловко и масляно запела:

– Степа, ребята придут. Ты уж Ваньку-то не ругай особенно. Он сам казнится, с лица даже спал.

– А, леший их всех возьми! Нет у меня зла, мать. Обидно, что доброго слова от них не дождешься. Только знают «давай».

– А кому ж давать? – вмешался Григорий. – Детям и давай.

– Так это заработать надо, чтобы давать, – резонно возразил Сергей Матвеевич.

– Ничего, у деда пчелы зарабатывают.

– Ишь ты, пчелы! – взвилась Прасковья Кузьминична. – Ты пробовал, милоч, как с пчелами-

то? Пчел, их знать надо. Не всякий сумеет еще. Это на какого любителя, да в какой год угадаешь. А то больше скормишь, чем возьмешь.

– Видать, отпчеловодился теперь, – вставил Степан Иванович.

– Оно и лучше. Хватит, Степа. Как волы мы с тобой всю жизнь. Не для себя жили, все для них, для детей. И о покое пора подумать. Степан-то с шестнадцати лет на железной дороге, – повернулась Прасковья Кузьминична к Сергею Матвеевичу. – На пенсию пошел, а все одно в депо остался работать.

Сыновья пришли к вечеру, когда мать ушла. Оба коренастые, в батьку, широкогрудые и мордастые, как бульдоги, с маленькими колючими глазками и тяжелыми подбородками.

– Здорово, батя! Мы ненадолго, – начал старший, Николай. – Там, внизу, Лешка ждет. Его не пустили.

– Небось, пьяный? – тяжело спросил Степан Иванович.

– Да ну, тверезый! Малость выпимши только.

– Бандит ваш Лешка, а вы с ним якшаетесь, охламоны.

Сыновья промолчали.

– Ты, батя, прости меня, – заговорил, наконец, младший, Иван. – Насчет того, что сказал тебе тогда. Сдуру все это. Без умысла.

– Чего там! Видно – сдуру.

Степан Иванович размяк. Из глаз его потекли слезы.

– Ну! Батя! Ты чего? – испугался Иван.

– Я ему щас, как выйдем, пидулину подвешу, – пообещал Николай, вставая со стула. Иван, прищурив глаза, зло посмотрел на брата и напряженно хохотнул.

– Я те подвешу, – ответил отец. – Смотри, ирод, у меня!.. Нет, чтоб дружно. Братья, вашу мать.

– Да я шучу, батя.

И с улыбкой добавил:

– Я ему дома подвалю.

Николай поднялся и стал выкладывать из сумки продукты. Еще чуть посидели и встали.

– Ладно, батя, поправляйся. В воскресенье зайдем.

- Вань! – окликнул сына Степан Иванович, когда тот был уже в дверях. – Деньгами подсоблю. Мать завтра придет, решим.

– Ладно, батя, не горит, – отмахнулся Иван, и было видно, что ему неловко.

– Зря даешь, – оторвал голову от книги Сергей Матвеевич. – Дармовые деньги – деньги пустые. Впрок не пойдут, а счастья от них тем более не будет.

– Кто-то древний сказал: «Несчастен, кто берет, но не дает взаимно», – подтвердил Павел.

– Да уж давать нечего. Все повыгребли.

– Во-во, последние вытянут, а потом и тебя пришибут, – беззлобно сказал Григорий и позвал:

– Сергей Матвеевич, иди, на ночь дураком оставлю...

Приходила дочка, тихая некрасивая женщина с блеклым лицом. Тихо плакала, рассказывала про внуков и все время что-то делала руками: поправляла одеяло, перебирала в тумбочке, и даже, когда просто сидела, руки были заняты: то поправляли кофточку, то открывали сумку, то затягивали туже косынку...

В пятницу после общего обхода выписали Сергея Матвеевича. Поясница у него побаливала, и он ходил осторожно, не делая резких движений, – все боялся, как бы опять не случилось обострения. Жене Григория Сергей Матвеевич дал денег и попросил принести бутылку коньяка. В субботу его провожали. Выпил Сергей Матвеевич вдвоем с Григорием. Степан Иванович только пригубил, а Павел налил себе в стакан минеральной воды. Остатки коньяка Григорий спрятал к себе в тумбочку.

И снова все пошло как обычно: до завтрака уколы, после завтрака процедуры, после обеда сон, потом с нетерпением ждали посетителей. И только смерть Ильи Ароновича Райса из соседней палаты нарушила ритм больничной жизни и выбила Степана Ивановича из колеи.

Райса привезли в больницу с инфарктом. В больнице случился инсульт. Сама по себе смерть не была явлением исключительным. Умирали в

отделении и раньше, но происходило это как-то тихо и особенно больных не беспокоило. Но Илья Аронович умирал долго и тяжело. Не давали умереть родственники, которых было много. Родственники сидели у его постели круглые сутки, по очереди сменяя друг-друга и изводя врачей и сестер звонками, придирками и претензиями по всякому поводу.

С Дальнего Востока приехал сын, старший лейтенант, интендант в летной форме. Он все время наклонялся к отцу и надоедал ему: «Папа, папа, ты меня узнаешь? Это я, твой сын Боря».

Дочка, невероятно толстая дама лет сорока пяти с брезгливыми губами, чуть не насильно толкала в рот отцу апельсины и требовала:

– Папа, ты должен жить, а чтобы жить, нужно кушать.

Илья Аронович был главой семейного клана и просто так отпустить его с этого света не могли – он был нужен родственникам, и родственники вопреки всем законам природы с помощью врачей дважды возвращали его к жизни, когда сердце переставало биться, стеклятели глаза, и, казалось, ничто уже помочь не могло.

И все же Райс умер.

Жена покойного, Ида Абрамовна хватала за руки врачей и просила:

– Сделайте же что-нибудь!

Врачи разводили руками и старались улизнуть в ординаторскую. Сделать, увы, ничего было нельзя.

Умер Райс рано утром, но до самого вечера отделение была наэлектризовано и пребывало в атмосфере напряженной тревоги. В палате весь день стоял гомон, как на базаре, а по отделению сновали родственники покойного. Время от времени раздавался плач, к которому присоединялся еще один, или кто-нибудь начинал причитать.

Наконец, тело забрали. И стало тихо.

Смерть Вайса подействовала на всех угнетающе. Настроение было подавленное, и в палате было тихо, как в мертвецкой. Говорили шепотом, и о чем бы разговор ни заводили, все возвращались к Райсу или другому, связанному со смертью случаю.

Степан Иванович постепенно поправлялся. Речь стала разборчивее. И на ногу Степан Иванович становился теперь увереннее, хотя ступня по-прежнему держалась плохо, и он подволакивал ногу.

Зато правой рукой он мог уже помочь себе одеться, поддержать банку с компотом, взять хлеб...

Еще раз сыновья приходили, когда дело шло к выписке.

Были они заметно навеселе. Гуляли на крестинах. Николай молча улыбался, а Иван без умолку говорил. Посидели недолго, выложили из сумки яблоки, банку томатного сока, пару бутылок газированной воды, и исчезли: торопились догулять.

Заметив, что Степан Иванович нахмурился, Прасковья Кузьминична вступилась за сыновей:

– Не сердчай, отец. Их дело молодое.

– Я уж вижу их дело. Ни мать, ни батька – никто не нужен. Вспоминают, когда деньги понадобятся.

– Да будет тебе, Степа. Сюда чего ходит-то часто? Я целый день, да они еще толкаться будут. Дома надоедят еще.

– Во-во. Там мать поесть даст и с собой сумку набьет...

– Ну, конечно! Детям пожалею тарелку щей налить.

– Дура ты, мать, вот что я скажу тебе. Тебе-то они нальют щей?

– Бог с ними, Степа. У нас все есть. Нам, слава Богу, ничего не надо.

– Детей у нас нет, – сурово сказал Степан Иванович.

– Эк, куда хватил! – испугалась Прасковья Кузьминична и прикрыла рот рукой. – Что мелешь-то?

– Э-э, ладно, – вздохнул Степан Иванович. – Чего об этом?

И заговорил о другом:

– В пятницу, наверно, выпишут. Так пусть Колька приедет на машине.

– А как же, Степа, как же, приедет, – горячо стала заверять Прасковья Кузьминична, радуясь, что Степан перевел разговор.

Наконец, наступил день, которого Степан Иванович ждал с таким нетерпением. На общем

обходе зав отделением Владимир Захарович осмотрел его, полистал историю болезни и, задав несколько вопросов лечащему врачу Семену Ефимовичу, разрешил выписку. Степан Иванович плохо спал ночь, устроившись встал рано, и кое-как позавтракав, стал ждать жену с одеждой. На улице уже было почти по-зимнему холодно. Снег еще не лег на землю, но белые мухи, предвестники зимы, уже кружились в воздухе и, падая на мерзлую землю, не сразу таяли. Ветер трепал одежду, срывал шляпы, и люди невольно ускоряли шаг и бежали рысцой или шли против ветра, как на стенку, круто набычив головы и наклонившись вперед.

Прасковья Кузьминична пришла только к обеду. Степан Иванович заждался и долго бубнил, выговаривая жене за то, что запоздала.

Но раздражение прошло, как только стал одеваться. Свежее белье напомнило о домашнем уюте, и к Степану Ивановичу вернулось уже знакомое чувство обновления, и опять радость заполнила все его клетки, а вместе с радостью он почувствовал уверенность в то, что скоро совсем будет здоров.

Ему доставляло удовольствие показаться перед больными в том костюме, в котором он живет здоровый, и он сам знал, что разница между тем, как выглядит человек в больничной пижаме и костюме, большая.

— Колька-то не выпимши приехал? — спросил Степан Иванович.

Прасковья Кузьминична как-то вся сжалась, словно ожидая, что ее вот-вот ударят.

– Не приехал он, Степа! – придавая голосу обыденность, сказала Прасковья Кузьминична и стала торопливо засовывать в сумку пустые банки и бутылки из-под кефира.

Степан Иванович вопросительно посмотрел на жену. Брови у него сошлись на переносице.

– Гуляли они вчера, – понизив голос до шопота, принялась объяснять Прасковья Кузьминична. – Сегодня похмелился с ребятами. Все хотел ехать, да я не пустила. От греха, Степ, подальше... А мы на такси. Оно лучше, – радостно сказала она и взглянула в его глаза, словно приглашая мужа разделить ее радость.

– Он же, паразит, знал, что меня выписывают!

– Говорю ж тебе, сама не пустила.

Степан Иванович ничего больше не сказал и молча продолжал одеваться.

Из старых больных в палате никого не осталось, и теперь Степана Ивановича провожал знакомый машинист Егорыч, поступивший недавно в соседнюю палату.

Когда Степан Иванович покинул отделение, Егорыч подошел к окну, где уже стояли больные из палаты Степана Ивановича. Вскоре они увидели, как Прасковья Кузьминична, поддерживая Степана Ивановича под руку, вывела его за ворот и тшетно

пыталась поймать такси, но, так и не поймав, повела его к автобусной остановке. Степан Иванович согнулся и, подволакивая больную ногу, ковылял с помощью жены.

Орёл, 1981 г.

АНТАГОНИСТЫ

В пятницу вечером молодой инженер Анатолий Качко дал в морду Пашке Савкову, сантехнику их домоуправления и своему соседу за то, что тот отодрал за ухо его шестилетнего Кешку.

Дал прилично, потому что парень он был крепкий, и корявый Пашка Савков скатился по шаткой деревянной лестнице старого двухэтажного дома, пересчитав все пятнадцать ступенек, ведущих от площадки второго этажа.. Пашка быстро поднялся на ноги, но на Качко полезть не решился, только поводит скулой из стороны в сторону и разразился матом.

– Ну, так твою растак, ты попомнишь Пашку Савка. Ты узнаешь его силу, пидар! – пообещал Пашка и пошел из подъезда, от бессильного зла грохнув дверь так, что от стенки отвалился шмот штукатурки.

А в субботу днем пьяный Пашка гонялся за Качко по двору с топором. Майка на нем висела ключьями, ноздри раздувались как у бешеного быка, а глаза, затянутые мутной пленкой, закатились под самые брови и ничего не видели кроме бегущего Качко. Это было страшно. Пятеро мужиков, сидевших вокруг самодельного стола, сделанного из листа фанеры, который был прибит к врытым в землю столбам, оставили домино и с

любопытством наблюдали за происходящим. Зинка Щекотихина вешала во дворе, опутанном паутинами веревок, белье. Увидев Пашку с топором, она бросила таз с бельем и пронзительно закричала:

– Ой, люди, ратуйте, он его сейчас насмерть убьет.

Из дома выскочила Катерина, Пашкина жена, и заорала на мужиков:

– Что ж вы сидите? Отнимите у него топор.

– Да он понарошку, – усмехнулся пожилой, но сильный и жилистый, как рабочий конь, Ребров. – Толяя попугать хочет, чтоб двор не баламутил.

А Толик зайцем петлял по двору, и ему было не до смеха. Страх перед топором заставлял его проделывать замысловатые зигзаги, чтобы сохранить безопасную дистанцию. Он был проворнее, но ему приходилось нырять под бельевые веревки, а низкорослый Пашка, хотя и с залитыми глазами, бежал не менее резво, потому что почти не касался веревок. Свое спасение Качко видел в подъезде своего дома, но Пашка все время отрезал ему дорогу в ту сторону.

Закружив Пашку, Толик наконец оторвался от него, влетел в подъезд и, захлопнув двери, уцепился обеими руками за ручку, подперев для верности дверь ногой. Пашка, как бежал, сходу запустил топором в захлопнувшуюся дверь. Топор деревянно громыхнул обухом по доске и мирно дворовой собакой улегся у дверей, уже не страшный.

И тут мужики скрутили Пашку, не дав ему снова взяться за топор.

Пашка вырывался, поливал всех матюгами и обещал кучу страшных неприятностей, если его не выпустят, но его держали крепко за вывернутые руки и отпускать не собирались.

– Врешь, у нас не вырвешься! – удовлетворенно проговорил бывший стрелок охраны Кисляков и в подтверждение своих слов завел заломленную руку к лопатке.

– Ой, что ж ты, легавый, делаешь? – блатным голосом взвыл Пашка. – Руку, гады, сломали.

– Цыц, придурок, лежи! – шикнул на него Ребров. – А то шею к едрене фене сверну.

Пока мужики держали Пашку, его жена сбегала домой и принесла два длинных ремня для транспортировки мебели, которыми хозяин подрабатывал иногда трояк-пятерку.

Пашку связали по рукам и ногам, оттащили домой и положили на кровать. Сначала он ругался, скрипел зубами, грозил Катерине, потом просил развязать и плакал, а потом уснул, и храп его слышен был улице.

Кисляков, Ребров и Колька Долженков, возбужденные от возни с Савковым, пошли к столу, где оставили костяшки домино.

– Ну, что? По рваненькому? – предложил Сашка Рябушкин, который в усмирении Савкова участия не принимал.

– В самый раз, – согласился Ребров и, заваливаясь на бок, полез в брючный карман за деньгами.

Все кроме Кислякова сдали Реброву по рублю.

– А ты что, не будешь, что ли? – удивился Ребров.

– Денег нет, – ответил Кисляков.

– А когда у тебя были? – сказал Ребров. – Всю жизнь на халяву.

Кисляков надулся и ничего не ответил.

– Вить, сходи-ка! Принеси червячки. Ты самый молодой, – приказал Ребров, и Витька Хряков, двадцатилетний увалень с растопыренными губами, чуть потоптавшись, пошел в продмаг за вином.

В это время во двор вкатил милицейский фургон. Пока Савков гонялся за инженером, перепуганная Зинка успела позвонить в милицию. Из машины вышел участковый, старший лейтенант Герасименко, старший сержант и рядовой милиционер. Они огляделись и направились к столу.

– Что у вас тут случилось? – спросил Герасименко.

Кисляков раскрыл рот, но Ребров зыркнул на него глазами и сказал, не поворачивая головы:

– Да ничего не случилось. Полный порядок, как у тети Маши.

– У какой тети Маши? – не понял старший сержант.

– У Копровой, что без мужа троих родила.

Сашка Рябушкин и Колька Долженков фыркнули.

– Шутки шутить? Я тебе покажу тетю Машу! – разозлился старший сержант. – Продержу трое суток, маму будешь вспоминать.

– Да что с ним разговаривать? – вмешался его молодой напарник. – Сажай в машину, посмотрим, какой он там будет разговорчивый. Ишь, арапа заправляет, морда уголовная.

Ребров молчал, словно в рот воды набрал, только уши нервно шевелились, да спина ниже склонилась, будто в ожидании удара.

– Ладно, я спрашиваю, кто милицию вызывал? – справившись с раздражением, обратился к сидевшим за столом старший сержант.

Зинка затаилась в своей полуподвальной квартире за тюлевыми занавесками и ждала, когда машина уедет. «Черт меня, дуру, дернул вызывать! – изводила себя Зинка. – Пашка, паразит, очухается, да узнает, прибьет тем же топором». Ей казалось, что милиционеры посматривают в ее сторону и невольно отступала от окна в глубь квартиры. Зинку трясло мелкой собачьей дрожью, и она никак не могла ее унять.

Вдруг из подъезда выскочила Юлия Качко, жена Толика.

– Товарищи, – едва сдерживая слезы, заговорила Юлия. – Хорошо, что приехали. Здесь чужь человека, моего мужа, не убили.

– Что ж вы–то молчите? – повернулась она к соседям. – На ваших же глазах.

Колька Долженков скривился, будто в рот ему налили лимонной кислоты.

– Врешь! – сказал Ребров. — Из пустяков милицию только беспокоишь. Если уж на то пошло, то Толяй сам его вчера первый отоварил.

– Ладно, разберемся, – остановил его участковый. – Расскажите, как было дело, – повернулся он к Юлии. – Только не волнуйтесь. По порядку.

– Вчера Павел... – начала Юлия, справившись с собой.

– Савков? – уточнил Герасименко.

– Да, Савков.

– У Савкова две судимости, – пояснил участковый милиционер. – И обе за хулиганство.

– Савков избил нашего Кешку, – продолжала Юлия. – Нашел с кем справиться! С шестилетним ребенком. Мой муж не вытерпел и ударил Савкова ... Это было вчера. А сегодня муж пошел в сарай за яблоками, а пьяный Савков бросился на него с топором. Муж успел вскочить в подъезд, и только случайно топор не попал в голову, потому что муж успел захлопнуть дверь.

– И опять врешь, – снова влез неугомонный Ребров, переступая ногой скамейку и поворачиваясь лицом к Герасименко. – Не было у него такого

намерения убивать. А с топором бегал, чтобы Тольку пострадать.

– Как же вам не стыдно? – заплакала Юлия. – Что вы его выгораживаете?

– Одного поля ягодки, – сказал старший сержант. – По нем, я смотрю, тоже тюрьма плачет.

– Ладно, пошли к Савковым, – предложил участковый.

Милиционеры во главе с Герасименко прошли через двор к деревянному барачному дому.

Показался Витька Хряков. Карманы его были оттопырены, и он шел неловко, как водолаз в полном снаряжении, осторожно придерживая бутылки, чтобы не болтались. Увидев милицейскую машину, Витька встал как вкопанный. Его ждали и поэтому заметили сразу. Долженков стал махать ему рукой, показывая, чтобы он обошел дом кругом. Витька понял и через минуту появился с другой стороны, у самых сараев. Он скользнул в открытый сарай Реброва и вышел налегке, одергивая брюки и поправляя легкую сатиновую куртку.

Жилье Савкова находилось в конце коридора, по обеим сторонам которого теснились двери квартир. Пашкина жена открыла сразу, не успели постучаться. Она уже знала о милиции и теперь моргала подслеповатыми глазами, переводя взгляд с одного милиционера на другого.

– Ну, где твой баламут? – спросил Герасименко, но уже и так было ясно, что «баламут» спит, потому что квартиру сотрясал прямо какой-то нечеловеческий храп.

– Спит он, – умоляюще сказала Катерина.

Герасименко, а за ним старший сержант шагнули из закопченной кухонки в комнату, добрую половину которой занимала печка. Связанный Пашка лежал навзничь на высокой железной кровати с четырьмя металлическими шарами на спинках. Рот его был широко открыт и работал как насос, тяжело втягивая воздух и выдыхая его со змеиным присвистом.

С минуту милиция любовалась Пашкой Савковым.

– В дугу, – сказал, наконец, рядовой милиционер.

– Да уж хорош был, если связать пришлось. Кто связал-то? – поинтересовался Герасименко.

– Мужчины со двора, – ответила Катерина, нервно перебирая край цветастой ситцевой кофты.

– Ну что? Забирать? – спросил старший сержант участкового.

– Да черт его знает. Вроде, права не имеем. Спит.

– Федор Степанович, миленький, не забирайте, – загундосила Катерина. – А я ему, паразиту, рожу-то его поганую сама раскровяню. Он же безвредный. Проспится – тише травы будет.

– А похмелится – прибьет кого-нибудь, – в тон

Катерине сказал Герасименко и, подумав чуть, решил:

– Ну, вот что, Катерина, сейчас мы его трогать не будем, пусть спит. А завтра я приду, опрошу свидетелей, да протокол составлю, а потерпевшая сторона заявление напишет. И загремит твой Пашка под фанфары, пойдет опять баланду хлебать.

Катерина всхлипывала и размазывала слезы по щекам.

Участковый Герасименко, а за ним милиционеры пошли к выходу.

Сержант с напарником сели в машину и уехали, а Герасименко направился к Юлии, которая стояла у своего подъезда, неловко переминаясь с ноги на ногу и поглядывая в сторону барака.

– Почему же вы его не забрали в милицию? – спросила недовольно Юлия. – Или вы забираете только тогда, когда человека убьют?

– Мы не забрали Савкова только потому, что сейчас он реальной опасности не представляет. Он спит, и к тому же связан, – спокойно сказал Герасименко и громче, так чтобы слышно было за столом, добавил:

– Пишите заявление – будем судить.

Потом спросил:

– Ваш муж дома?

Юлия кивнула.

– Я бы хотел с ним поговорить.

Когда они вошли в квартиру, Толик ползал на коленках по полу вместе с Кешкой вокруг железной дороги и гудел вместо паровоза.

– Толя, к нам из милиции, – окликнула мужа Юлия.

Толик увидел участкового, смутился и торопливо встал.

– Проходите в комнату, – пригласила Юлия.

– Спасибо, я ненадолго, – отказался Герасименко и сразу приступил к делу.

– Я уже вашей жене рязьяснил, что вы можете подать заявление в милицию, и Савкову дадут как минимум пятнадцать суток, – сказал он, обращаясь к хозяину.

– Вот и пусть посидит, – зло отозвалась Юлия.

– Конечно, стоит. Ему, стервецу, и этого мало. Только, боюсь, здесь не пятнадцатью сутками пахнет. У Савкова две судимости. Так что, вполне могут дать двести шестую статью, часть вторую, квалифицируя его действия, как хулиганские, совершенные лицом, ранее судимым за хулиганство. А это от одного до пяти лет.

Участковый внимательно посмотрел на Юлию, потом на Анатолия. Юлия криво усмехнулась и промолчала.

– Я писать никуда не собираюсь. А с этим гадом и сам справлюсь. Пусть еще попробует топор взять, голову проломлю. Вон арматуры кругом сколько валяется.

Анатолий выглядел таким бойцовым петухом, но в нем скорее говорила обида и стыд за то, что пришлось бегать от Савкова.

– А вот этого не надо, – жестко сказал участковый.
– За это сами под суд пойдете.

– Вот видите, – всплеснула руками Юлия. – За бандита под суд. Его же чуть не убили, и его же будут судить за то, что он в порядке самообороны ударит вооруженного бандита.

– Ну уж и бандита, – усмехнулся участковый и, подняв палец, подчеркивая важность своих слов, сказал:

– В порядке не-об-хо-ди-мой самообороны, но не превышая ее. А в это время очень даже просто превысить эту самую самооборону.

И поймав себя на мысли, что говорит о чем-то отвлеченном, а не о том, для чего сюда пришел, Герасименко недовольно нахмурился:

– Давайте-ка не будем перебирать кодекса законов. Давайте поступать так, как требует того гражданская совесть. Зачем вам-то равняться на Савкова? Впрочем, ваше законное право требовать наказания виновного. Пишите заявление, а мы дадим ему законный ход. Я к вам пришел вовсе не для того, чтобы выгораживать Савкова, а чтобы вы были в курсе дела. В общем, смотрите сами.

Участковый козырнул и вышел, чуть не сбив

фуражку о низкую притолоку двери, но во время успел удержать ее рукой.

Толик видел в окно, как участковый подошел к доминошному столу и стал что-то выговаривать Реброву. Ребров оправдывался, время от времени прижимая обе руки к груди.

Только Герасименко покинул двор, Ребров поспешил к сараю и через минуту вышел оттуда, что-то дожевывая на ходу. Потом в сарай сходили по очереди Колька Долженков и Сашка Рябушкин. С новой силой загрохотало домино.

– Юль, уже приложились, – поделился Толик своими наблюдениями.

– Долго ли! – пожала плечами Юлия. – Теперь будут прикладываться, пока магазины не закроются. И вдруг заговорила зло, выплескивая разом давно сидевшее в ней мутью раздражение:

– Не двор, а забегаловка какая-то. Ребенка лишний раз выпустить боишься – мат сплошной стоит. А окна хоть не открывай – от стука домино оглохнешь... Вышла замуж в хоромы.

– Могла б не выходить, – огрызнулся Толик. – На аркане не тащили.

– Не тащили. Только золотые горы обещали, а я, дура, уши развесила. – продолжила заводиться Юлия. – Ты посмотри, все твои институтские, с кем ты учился, давно с квартирами. У Кузьмина – трехкомнатная, у Савина – двухкомнатная в девятиэтажном доме.

– А у Юрки Левицкого какая? – с иронией спросил Толик.

– А у Юрки Левицкого «Жигули», и гараж во дворе. И уж не беспокойся, будет и квартира.

– Ну что вечно одни и те же разговоры заводить? Знаешь же, что я на заводе на очереди стою. В следующем году будут дом сдавать. Мне обещали. И что воду в ступе толочь?

– А то, что все люди, как люди, а мы, как бедные родственники. Потолки нависли, полы провалились. По лестнице идешь – скрипит и ходуном ходит, того и гляди вместе с лестницей загремишь. Одно название, что инженеры.

– При чем тут инженеры?

– Да вот именно, что ни при чем. Вон, Танькина мать - парикмахерша, а отец - шофер. Так давно в кооперативной квартире живут и на своей машине разъезжают.

– Вот и шла бы в парикмахеры, а не в институт, – ехидно сказал Толик.

– Да молодая, дура была, – изводилась Юлия.

– Я смотрю, ты и сейчас не поумнела, – усмехнулся Толик.

– Ох, умник нашелся! – вскипела Юлия и, бросив на мужа презрительный взгляд, повернулась и пошла на кухню.

Кешка играл в железную дорогу и не обращал на

родителей никакого внимания. Ему даже нравилось, когда они ссорились. Перебранки быстро кончались, и родители начинали целоваться. Тогда он тоже влезал между ними, и на его долю перепадала большая доля ласки от обоих. Они словно чувствовали себя перед ним виноватыми и тискали его, гладили, обнимали.

– Это только слова! – пошел Толик за женой. – Верни все назад, и ты снова будешь поступать в институт... Лично я не променяю свои книги ни на какую машину. Между прочим, если, продать по пятерке том, как раз на машину и получиться.

– Можно подумать, что у них книг нет. У Танькиной матери побольше возможностей, чем у тебя.

– Так у нее и книги служат чем-то вроде хрусталья... Ну ладно, хватит злиться-то.

Толик попытался обнять жену за плечи.

– Отстань! – раздраженно передернула плечами Юлия.

Толик вспыхнул и, взяв ключ от сарая, вышел из дома, привычно пригинаясь под притолокой двери.

Во дворе его остановил Ребров и, прищуриив оба глаза, спросил:

– На хрена милицию-то вызывал? Ума много?

– А на хрена мне нужно, чтобы всякий придурок перед моим носом топором размахивал? – в тон Реброву ответил Толик. — Вот теперь кайлом помахает, может быть, и поумнеет.

– Посадить хочешь? – с презрением посмотрел на Толика Ребров.

– Там видно будет, – мстительно сказал Толик и пошел к сараю, но, сделав несколько шагов, обернулся и бросил в сторону стола:

– Милицию, между прочим, ни я, ни Юлька не вызывали.

– Как это не вызывали? – изумился Колька Долженков.

– Да вот так, не вызывали и все.

– А откуда ж тогда милиция?

Толик на вопрос Долженкова не прореагировал, будто и не слышал, подошел к сараю и стал возиться с замком. Открыв сарай, он достал инструмент, взял давно приготовленные квадратики фанеры и стал городить клетку для хомяка, жившего пока в трехлитровой стеклянной банке. Работая, он слышал, как мужики окунались в Ребровский сарай, как ругалась жена Реброва, Валька, и как Ребров беззлобно отмахивался от жены, словно от назойливой мухи, доводя ее до белого каления.

То ли по причине разговора с милицией, то ли по случаю хорошего куража, по домам разошлись рано. Только Ребров сидел за столом вдвоем с Кисляковым и сводил с ним мелкие счета. Кисляков был трезв, но по своей природной тупости никак не хотел уступать и цеплялся хуже пьяного за каждое слово. Ребров

скрипел зубами, делал страшные глаза, и даже брал Кислякова за грудки, но ударить рука не поднималась. Кисляков это понимал, но ему доставляло удовольствие ощущать себя на грани мордобоя, и он с каким-то садистским наслаждением лез на рожон, подзуживая Реброва. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы Кислякова не увела дочка, вредная и злая как цепной пес, баба, засидевшаяся в девках. А Ребров долго еще сидел в одиночестве, поскрипывая зубами, и пугал тишину бессвязным бормотанием.

Толик Качко вставал обычно в шесть. В выходные – на час позже, но не изменял давно заведенному правилу. Делал небольшую, но изматывающую пробежку по рву, что находился сразу за домами, поднимаясь и опускаясь по многочисленным веревочкам тропинок, пересекая его вдоль и поперек.

– Можно бегать, – объяснил как-то Сашка Рябушкин. – На работе ни хрена не делает, на заднице сидит. А тут у станка набьешься – жрать не хочется, не только козлом прыгать.

После пробежки Толик мылся до пояса холодной водой, потом завтракал и шел на работу.

Воскресенье было исключением, и Качко, пофырвав под умывальником, драил махровым полотенцем кожу, отчего она наливалась кровью, и он становился похожим на клопа, и мурлыкал под нос какой-то модный мотивчик, предвкушая удовольствие

посидеть над кляссером и поколдовать над своими марками. Жена уже возилась на кухне, а Кешка еще тихонько посапывал носом в некрепком утреннем сне.

И в это время появились Савковы.

– Вот, привела своего дурака, – волнуясь и пряча неловкость за развязанный тон, сказала Катерина и будто «дураком» поставила стенку между собой и мужем.

– Сайчас оденусь, – буркнул Толик и позвал: – Юль, выйди, тут пришли.

Из кухни вышла Юлия.

– Юленька, Христом Богом прошу, простите моего паразита, – стала причитать Катерина. – Все водка проклятая. Разве трезвый-то стал бы с топором гоняться? Вот сегодня, проспался, да как узнал – сам стал не свой, идем, говорит прощения просить.

«Врет! – подумал Толик. – Сама привела».

Пашка молча томился за Катькиной спиной. Лицо опухло, посерело, а веки тяжело плавали по залитым глазам, отражающим всю гамму человеческих страданий.

– Знаешь что, Катерина! Он не маленький ребенок, и за свои поступки должен отвечать. Пьяный был, не пьяный. В глотку никто насильно не вливал.

– Мама! – позвал Кешка.

– В общем, пусть сам решает как хочет, – махнула рукой Юлия и пошла к сыну. Из комнаты, заправляя на ходу рубашку, вышел Толик.

– Толик, золотце, – кинулась Катька теперь к Толику. – Не подавай в милицию. Его ж, дурака, как пить дать, посадят.

– Во-во, теперь Толик золотце, – усмехнулся Толик. – Мозгами шевелить нужно. А то, как что, глаза вылупит и за нож, да за топор. Люди мы, в конце концов, или кто?

– Ну ладно, ладно, кореш, – обиделся Пашка. – Ша! Сказал, не буду – все. Завязано. Век свободы не видать, если брешу.

– Сказал, пить бросит, – то ли перевела, то ли подтвердила довольная Катерина и зашипела рассерженной кошкой: – Ну, смотри, оглоед, если не бросишь – сама заявлю, так и знай. Больше я с тобой, паразитом, мучиться не буду.

Пашка, стиснув зубы, молчал.

– Так что ж, Толенька, простишь, что-ли?

– Можешь не беспокоиться, никуда я заявлять не собираюсь ... А насчет простишь – это дело пятое. Но предупреждаю, Пашка, если ты хоть раз сунешься ко мне, уж я найду как ответить. Что в руках, то и в голове будет. Больше не побегу, будь уверен.

– А ты меня не пугай, я в жизни пуганный, – стал закипать Пашка, но Катька ткнула его в бок и осадила разом:

– А ну-ка смолкни, тварь! Что обещал? А?

Пашка сник.

Савковы ушли, а Юлия возмущенно сказала:

– Вот мерзость! Как шкодить, так герой, а как ответ держать – хвост под лавку. Стоит с невинной мордой. Пить бросит... Зарекалась свинья ...

– Да ну их. Еще из-за Савковых нервы трепать. Давай-ка лучше завтракать, есть хочется.

Вечером Толик с Кешкой возились в сарае. Толик водил резцом по дереву, и под его руками постепенно оживала липовая плешка, которых у него было заготовлено впрок, постепенно превращаясь в еще нечеткий лик. Резчицкий инструмент у него был знатный. Полный набор стамесок с лезвиями различных профилей: плоские, косяки, пологие полукруглые, церазики с лезвиями в виде дуги круга, гейсмусы – угловые стамески, клюкарзы для глубокой резьбы. А кроме того, вся мелочь вроде линеек, угольников, ерунков, струбцин и прочих разметочных инструментов, без которых, в общем-то, и не обойтись. Увлекался Толик резьбой по дереву давно и дело это любил еще со школы, но времени у него на все не хватало, и часто начатая вещь подолгу валялась незаконченной, но иногда на него словно «находило», и он все дни после работы торчал в сарае или, если это было зимой, располагался на кухне и резал дерево. Сначала он отдавал предпочтение объемной резьбе, и у него скопилось много разных статуэток и жанровых композиций. Потом перешел на высокорельефную резьбу. Кухня украсилась красивыми тарелками, а зал - масками.

Теперь Толик работал над маской индейца. Он увлеченно колдовал над заготовкой, а Кешка не менее увлеченно забивал молотком гвозди в кусок доски.

В дверях показался Пашка Савков. Глаза его блестели, а морда разгладилась, словно блин на сковородке. Видно было, что он хорошо похмелился и находится в совершенно удовлетворенном расположении духа.

– Столярничаешь? – поинтересовался Пашка.

– Столярничаю, – недружелюбно ответил Толик. – А ты опять выпил?

Пашка обиженно запыхтел и какое-то время сдерживал себя, но вдруг взорвался.

– И что ты Скачков за человек? И что ты всё цепляешься? – заговорил он в растяжку петушиным тенорком, почему-то делая упор на «ч» в слове «что». Глаза его сузились, голова втянулась в плечи, и он весь собрался точно перед прыжком.

– Ну, выпил, выпил. Бутылку портвейного. Гадом буду, – он ногтем большого пальца ковырнул передний зуб, вроде вырвал его, и провел ладонью по горлу. – Так похмелиться надо было? Надо.

– Ты только не ругайся, здесь ребенок, – предупредил Толик.

Савков приложил палец к губам, и заговорил вдруг проникновенно:

– Я к тебе, кореш, со всей душой. Только ты

непонятный какой-то. Мужики как мужики. И выпьют и поговорят. Опять же, «козла» забьют.

– И в морду дать могут, если что, – заметил Толик.

– Вот вишь, вишь? Опягь ты с подковыркой. Ну и что, если и в морду? Обычное мужское дело. А вот ты все сам с собой. Забьешься в свою хату и сидишь книжки читаешь. Ну, это дело, предположим, нужное. А только и выпить с соседями нужно. И по душам поговорить. Нет в тебе этого понятия.

Толик молчал, ожесточенно давил на стамеску, и из-под нее вылетала, извиваясь, тонкая спираль сухой стружки.

– Это, значит, чей-то форштевень вырезаешь? – удивленно покачал головой Савков, показывая на маску индейца. – Молоток, падла буду.

Толик метнул на него уничтожающий взгляд.

– Все, все, мешать не буду. Я похилиял.

Он было вышел из сарая, но, что-то вспомнив, остановился и просунул голову в дверь.

– Чуть не забыл. Катька сказала, что милицию не ты вызывал... Зинка, сучара. Ну, с ней будет разговор особый. А ты молоток. Ты, кореш, не обижайся. Я – по-простому.

Савков повернулся и с важным видом зашагал через двор к столу, где азартно грохали костяшки домино.

Толик еще несколько минут поводил резцом по

маске, но руки дрожали от непонятной обиды, и он, швырнув инструмент в ящик, оставил работу, позвал Кешку и стал закрывать сарай. На душе было муторно, и когда Кешка спросил, кто его завтра поведет в сад, он или мама, Толик дернул сына за руку и раздраженно сказал:

– Кто поведет, тот и поведет.

Орёл, 1984 г.

КРАЖА

Рижский поезд на Воронеж опоздал почти на час и в Орск прибыл только в десятом часу вечера.

Пассажиры томились, нервничали, вглядывались в далекий поворот, где сходились в линию убегающие рельсы, и время от времени поднимали глаза на платформенные часы, отмечая ленивый ход минутной стрелки, будто это могло что-то изменить.

Наконец, уже в сумерках, из-за поворота выплыли огни, и поезд трехглазым чудовищем стал быстро надвигаться на платформу. Замедляя ход и останавливаясь, электровоз с металлическим лязгом протащил состав вдоль платформы, и люди, не угадав места остановки своих вагонов, метались по платформе, натываясь друг на друга, путаясь в сумках и чемоданах и вступая в короткие и злые перебранки.

Юрий Васильевич Струков, не обнаружив своего вагона в хвосте, добродушно ругнулся про себя и, не обремененный вещами, пошел неторопливо в сторону головного вагона, внимательно разглядывая номерные знаки. У проводницы восьмого вагона он спросил:

- Девонька, а где девятый ?
- Сразу за шестым.
- А почему опоздали?

– Под Смоленском авария. Поезд с рельсов сошел,
– охотно пояснила приветливая проводница.

– Жертвы есть?

– Кто его знает? Говорят, есть.

А у девятого вагона пассажиры уверенно называли число жертв и количество пострадавших.

В вагон не пускали. Две проводницы помогали сойти инвалиду, парню лет двадцати с небольшим, почти юноше. Одна из проводниц спрыгнула с костылями на платформу и пристроила их к скамейке, вернулась, и они обе с трудом стали снимать инвалида. Ноги того беспомощно разъезжались в стороны, он повис на женщине, что стояла внизу, и она, едва удерживая его, вдруг истерично закричала:

– Да помогите же!.. Ну скорей же, кто-нибудь?

Ее отчаянный крик повис в воздухе. Люди молча топтались на месте, надеясь каждый на другого, и никто не сдвинулся с места. В это время вторая проводница успела спуститься вниз и приняла парня. Запоздало бросился к ним Струков, и вместе с проводницей они усадили инвалида на скамейку. Появилась медсестра в белом халате поверх пальто. Она поставила санитарную сумку на скамейку, что-то спросила у инвалида, пощупала пульс и пошла за санитарами.

Проводница смаху опустила крышку на сходни и энергично заработала веником, выплескивая на пассажиров всю накипь своего раздражения.

– Не люди, какие-то идиоты! – возмущалась проводница. – Куда хоть у людей совесть девается? А с виду все интеллигентные, все едут! Вот уж правда, помирать будешь, мимо пройдут, не остановятся.

Проводница размахивала веником, сметая пыль на головы пассажиров. Уняв аллергический зуд, она захлопнула дверь и ушла в вагон.

– Ну, это уж слишком! – возмутился плотный мужчина в легком кожаном пальто. – Да что на нее управы нет, что-ли?

Народ загудел растревоженным ульем, кто-то заколотил кулаком в дверь.

– Да бросьте вы! – раздался насмешливый голос. – Себе дороже обойдется.

– Это почему же? – насторожилась полная женщина с искусно наведенным макияжем.

– Да вот возьмет и не даст ни чая, ни постели! И все вам «почему».

Эта трезвая фантазия почему-то разволновала народ больше, чем хамство проводницы. Разом зашумели.

– Не имеет права!

– За это можно и с работы слететь!

– Много их слетело! – иронизировал все тот же голос. – Что-то я у нас безработных не видел.

Тяжелая дверь с грохотом распахнулась, и все моментально успокоились.

В обшарпанном купе не оказалось ни коврика, ни скатерти на столике, ни вешалки. Струков повесил плащ на крючок, вынул из спортивной сумки «Огонек», а сумку сунул в багажник. Прежде чем сесть, он провел пальцем по сидению, достал матрац и положил на нижнюю полку.

Вошел еще один пассажир. Тоже налегке. Он поздоровался, закинул пухлый портфель желтой кожи на верхнюю полку, снял старомодный габардиновый плащ и сел на матрац рядом со Струковым.

Голос вошедшего показался знакомым, и Струков, взглядевшись внимательнее в лицо соседа, просял:

– Николай Степанович! Вы?

Тот снял очки, протер неторопливо платочком, водрузил на место и пристально посмотрел на Струкова.

– Струков! – нерешительно сказал он и обрадовался: – Ну да, Юра Струков! Вот сюрприз!.. Сколько же времени прошло? Лет пять? Или больше?

– Шесть, Николай Степанович. Шесть лет, как мы на самостоятельном балансе. А мы вас с ребятами вспоминаем.

– Ругаете?

– Ну что вы? С вами спорить интересно было... А помните, как мы на первом курсе у вас спросили, почему у нас женщина шпалы наравне с мужчинами таскает. А вы нам выдали: мол, наша женщина

является сознательным строителем нового социалистического общества, и, ощущая дефицит рабочих рук, идет на самые трудные участки.

– Это когда вы прочитали Бебеля? – засмеялся Николай Степанович.– Интересно, чего вы от меня ждали на лекции в большой аудитории!

– А помните наши споры в общежитии?

– Да, быстро время летит, – вздохнул Николай Степанович. – Кажется, только вчера вы были моими студентами, а вот уже оказывается шесть выпусков после вас прошло... Юра, а вы где работаете, если не секрет ?

– Какой секрет, Николай Степанович? За главного инженера ОКБ.

– Ого! Молодец! Ну, вы и в институте в способных студентах ходили. А в Воронеж по какому вопросу?

– Семинар по хозрасчету.

– Перешли?

– А куда денешься? Партия сказала «надо» – комсомол ответил «есть». Одним словом, перестройка, – с кислой миной сказал Струков и непонятно было, одобряет он этот переход или нет.

– Ладно, – улыбнулся Николай Степанович. – Оставим политику политикам... Юра, а вот у вас на курсе был такой смешной студент, кажется Авдеев?

– Алексей? Который вам с пятого захода зачет

сдавал, а вместо «удовлетворительно» писал «удлетворительно»?

– Да-да! Алексей... Про зачет помню, а про «удлетворительно» не знал, – засмеялся Николай Степанович. – И что с ним? Где он?

– А он, Николай Степанович, директором «Облкниготорга» работает.

– Матерь Божия! – искренне удивился Николай Степанович. – Вот тебе и «удлетворительно»!..

Поезд дернулся в судороге, как эпилептик. Раз, другой. И медленно, плавно пошел, набирая скорость. Дверь в купе бесшумно отворилась и вошли двое, мужчина и женщина. Оба худые, высокие. Оба рыжие. То ли брат и сестра, то ли муж и жена. Она сияла легкое пальто и стала отчетливо видна беременность. Женщина сразу села, достала из хозяйственной сумки книгу и уткнулась в нее, близоруко поднеся к глазам. Мужчина сунул простенькую болоньевую на поролоне куртку под подушку, легко подтянулся на руках и забросил гибкое тощее тело на вторую полку и как был в одежде растянулся прямо на голом матрасе, повернув голову к стене.

Струков с Николаем Степановичем потеряли к соседям интерес.

– Николай Степанович, а Песиков еще у нас преподает? – спросил вдруг Струков.

– Семен Гаврилович? А как же? Преподает.

– И что, защитился?

– Вы про докторскую?.. Да все никак! – засмеялся Николай Степанович.

– А теперь-то что мешает? – искренне удивился Струков.

– А все то же! Когда пришел к власти Никита Сергеевич, Семен Гаврилович вынужден был сделать поправку на разоблачение культа личности, а потому все старые лозунги и ссылки на труды товарища Сталина пришлось убрать, а по существу переписать всю диссертацию. А когда подошел срок защиты, страной уже руководил товарищ Брежнев. Ну, и сами понимаете... Сначала, Семен Гаврилович было плюнул на все это, но потом снова взялся за диссертацию. При Леониде Ильиче вроде наступила определенная стабильность, которая потом оказалась застоем. И бедный Семен Гаврилович опять попал на смену власти. Началась перестройка, и многострадальный труд Песикова устарел, не увидев свет... Это, брат, не фунт изюма. История КПСС – дело серьезное.

Николай Степанович зевнул, прикрывая рукой рот, помассировал рукою глаза.

– Ладно, Юра, давайте-ка спать. А то мы с вами до утра проговорим. Завтра рано вставать.

Николай Степанович снял туфли, пиджак и, став на нижние полки, тяжело подтянулся на руках и с трудом влез на вторую полку.

Струков постелил постель, но спать не ложился. Мешал свет.

Женщина все читала. Он тоже развернул «Огонек». Минут через двадцать глаза стали слипаться, и Струков раздраженно подумал о том, что времени уже двенадцатый час, а завтра рано вставать. Он встал и вышел в тамбур. За окном в крошечной тьме мелькали черные силуэты деревьев, чуть подсвеченные тусклым светом луны. Колеса ритмично стучали на стыках рельс, и в тишине спящего вагона этот стук особенно четко врезался в уши. Где-то в близком к тамбуру купе заплакал ребенок и быстро умолк, убаюканный чуткой матерью. Струков сполоснул в туалете лицо, прошел в свое купе и стал снимать пуловер, надеясь, что женщина соберет и выйдет в тамбур, но она продолжала читать, и Струков полез в брюках и рубашке под одеяло и под одеялом, чертыхаясь про себя, неудобно изгинаясь, начал стаскивать брюки. Он закрыл глаза, но знал, что не уснет, пока в купе горит свет. Стук колес теперь глухо через подушку бил по голове, но нервы, убаюканные ритмичностью, постепенно успокаивались, и Струков стал погружаться в дремоту. Он слышал, как женщина выходила, потом вошла и почти безшумно прикрыла дверь, повозилась немного и наконец выключила свет.



Спал Струков чутко, слышал, как соседи по купе ночью вставали. Отодвигалась и задвигалась дверь. Струков засыпал, просыпался на остановках, когда поезд судорожно дергался, останавливаясь, и с лязгом

рывками трогался снова. Где-то ближе к утру он слышал в купе возню, с трудом открыл глаза и видел при свете, пробивавшемся в щель при открытой двери, как мужчина и женщина скатывают матрацы. Струков повернулся к стенке. Стукнула, закрываясь, дверь. И все затихло, только слышилось мерное похрапывание Николая Степановича.

«Сошли на какой-то станции», – лениво отметил Струков и забылся беспокойным сном, не приносящим отдыха.

Николай Степанович проснулся рано, свежий и бодрый, хорошо отдохнувший.

Струков встал с тяжелой головой, когда Николай Степанович уже умылся, сдал постель и сидел с газетой напротив за столиком.

– С добрым утром, Юра! – приветствовал он Струкова. – Как спалось?

– Спасибо! Плохо! То эти лазили туда-сюда, то поезд дергался. На какой-то станции, наверное, час стояли.

– А я выспался за все три дня. Вчера с ног валился. Спал как сурок, ничего не слышал. – Николай Степанович посмотрел на часы. – Через полчаса Воронеж. Надо помаленьку собираться.

Скачко вышел в коридор. Похлопал по карманам, достал бумажник и проверил документы. Все было на месте. Струков хотел вернуть бумажник на место, но

что-то насторожило его, и он стал проверять деньги. В бумажнике не хватало сорока рублей. Струков на всякий случай еще раз посмотрел карманы. Денег не было.

– Николай Степанович, – растеряно сказал он. – У меня деньги украли.

– Да что вы?

– Николай Степанович достал из внутреннего кармана пиджака портмоне. Открыл и недоуменно посмотрел на Струкова.

– Юра, у меня тоже.

Проходившая по вагону проводница спросила:

– Что случилось ?

– Украли деньги, – Струков зачем -то показал бумажник.

– У меня было семьдесят рублей, а осталось тридцать.

– А где вышли эти... муж с женой? – Струков вспомнил, как открывалась и закрывалась дверь, вспомнил, что пиджак, который он повесил под куртку, утром наполовину торчал из-под нее.

– В Липецке. Я их высадила в Липецке.

– Проводница прошла к себе в служебное купе, вернулась и уточнила:

– В Липецк мы прибыли в четыре часа двенадцать минут. Вы думаете, они?

– А кто еще? – пожал плечами Струков. – Я спал

чутко, ночью никто не входил. А пиджак Николая Степановича висел над второй полкой, и дотянуться до него мог только высокий человек.

Проводница чуть посидела в их купе, посочувствовала и ушла.

Пезд подходил к Воронежу.

– Николай Степанович, а у вас что, совсем денег нет?

Струков чувствовал себя неловко. У него осталась хоть какая-то часть денег. Но расстроенный Николай Степанович вдруг спросил:

– Юра, а как же они у вас все деньги не взяли? Какие-то странно совестливые жулики.

Струков почувствовал, что краснеет.

– Может быть потому, что тридцать и сорок рублей лежали отдельно, а им некогда было копаться. Взяли первые попавшиеся.

Он знал, что Николай Степанович ничего плохого о нем подумать не может, но чувствовал себя виноватым, и ему было неуютно.

– Николай Степанович, нужно заявить в милицию. Сейчас в Воронеже, прямо на вокзале, пойти и заявить.

– И что мы с этого будем иметь? – Николай Степанович скептически усмехнулся.

– Но они же так и будут поездам грабить... Так как вы теперь без денег – то?

– Спасибо, не беспокойтесь, Юра! У меня, к

счастью, вчера после ужина сдача с десятки осталась в кармане брюк. Я в Воронеже один день пробуду. Обратный билет есть.

На вокзале Струков уговорил Николая Степановича, и они пошли искать милицию. Их принял дежурный майор. Он внимательно выслушал Струкова. Николай Степанович со скупающим видом открывал и закрывал замок портфеля.

– А почему у вас взяли только сорок рублей, а не все семьдесят?

Майор с внимательным прищуром смотрел на Струкова.

– Господи, я-то откуда знаю? – разозлился Струков. – Может быть, потому, чтобы вы спросили меня об этом ... А разве не может быть так, что это сделано специально, чтобы посеять недоверие между двумя оставшимися пассажирами... Вы что, подозреваете меня? – тон Струкова был невольно вызывающим.

– Нельзя сбрасывать со счетов ни одну версию, – невозмутимо ответил майор.

– Глупости! – вмешался Николай Степанович, оставив на секунду замок своего портфеля. – Это мой ученик, ныне зам главного инженера предприятия.

Николай Степанович усмехнулся:

– Этак можно и родную маму заподозрить.

– Разберемся! – строго пообещал майор.

– Особые приметы у ваших попутчиков есть?

Струков с Николаем Степановичем переглянулись.

– Ну там родинка, шрам, или наколка на руке, – помог майор.

– Я вообще на них не обратил внимания. Как лег, так и уснул, – Николай Степанович виновато развел руками: – Знаете, последнее время недосыпал, ночами работал.

– Женщину я хорошо разглядел, – сказал Струков. – Я сидел напротив и не ложился, ждал пока она кончит читать. Не могу, понимаете, спать при свете. Теперь я знаю, почему она книгу у самого носа держала – лицо закрывала.

– Ну, так что же с особыми приметами? – остановил Струкова майор.

– Она была беременна. Я еще отметил, когда она сняла пальто, что платье у нее с поясом и подумал, что, наверно, неудобно беременной затягиваться поясом.

– Срок беременности? – быстро спросил майор.

– В этих вещах, извините, я не разбираюсь, – усмехнулся Струков. – Но заметно.

– Еще что?

– Конопатки. Рыжая она. И он рыжий. Но его я хорошо не рассмотрел. Он как лег сразу на полку, так и не вставал.

– Еще у нее серые глаза и нет с правой стороны верхних зубов, – вспомнил Струков.

– Вещи у них были?

– Вроде нет. Помню небольшую хозяйственную сумку с двумя ручками. С такими сумками женщины обычно на работу ходят. Помню, потому что она из нее книжку доставала.

– Вы говорите, спали чутко, но не видели, кто украл деньги. Почему вы думаете, что это сделали именно они?

Струков пожал плечами и неуверенно сказал:

– Так больше некому. К нам никто не заходил.

– По вашим же словам, пиджак вы повесили на крючок слева от входа в купе. Достаточно чуть приоткрыть дверь – она отходит вправо, – протянуть руку и залезть в карман. А двери на замок, как вы говорите, после того как они выходили, не закрывались.

– Ну да, достать бумажник, найти деньги, взять и аккуратно положить его на место, – с нескрываемой иронией возразил Струков.

– А я и не настаиваю на этой версии. Я хочу только сказать, что ни одну из возможных версий нельзя сбрасывать со счетов.

– Двери в купе открывались с трудом и шумно, – вяло сказал Струков.

– А не заметили вы в поведении ваших соседей чего-нибудь странного? Что заставило бы вас насторожиться? – чуть помолчав, спросил майор.

– Кроме того, что вставали раза три ночью, не заметил. Правда, не обратил внимания, вставала только женщина или мужчина тоже.

– Вы сказали, что оба высокие. Какого примерно роста?

– Ну, если сравнивать со мной, она выше меня, а он на полголовы выше ее. Где-то под метр девяносто.

– С меня будет?

Майор встал из-за стола. Грузный, огромный. «Как бурый медведь в Орском краеведческом музее». Струков усмехнулся сравнению.

– Не меньше. Только худой.

– Ну вот, а у меня метр девяносто три. Ну ладно, вот вам бумага, садитесь и пишите. Сначала заявление на розыск, потом подробно – все, что мне рассказали. Будем искать.

Освободились они часа через два. После того как они подробно описали все, что помнили, с них еще снимали показания. Причем, каждого допрашивали отдельно.

Из отделения милиции Струков вышел чуть раньше и стал ждать Николая Степановича. Николай Степанович, злой, с красным возбужденным лицом, показался в дверях милиции и стал ворчать, что, мол, втянул его Юрий в историю. Угробили больше двух часов времени. И хотя бы польза была, а то – впустую.

– Откуда я знал? – огрызнулся Струков. – Знал бы, что это так у них делается, сам бы ни за что не пошел.

Струков выглядел совершенно убитым, будто на него свалилось горе непоправимое; а глаза виновато прятались от взгляда Николая Степановича. Губы Николая Степановича стали медленно расплываться в улыбке. И вдруг он расхохотался... Хохотал искренне, до слез. Струков с недоумением смотрел на него, и губы его невольно тоже расплывались в улыбке.

А мы ... мы с тобой про докторские диссертации, – всхлипывал Николай Степанович. – А мы с тобой ... про «удлетворительно» ... А нас ... нас по-русски ... по-простому. Вот она сермяжная ... ха-ха-ха... правда. Вот она посконная ... домотканная. Вот она родная.

Теперь они хохотали вдвоем. Прохожие удивленно смотрели на двух прилично одетых мужиков, заразительно хохотавших друг перед другом и, не понимая причины столь бурного веселья, сами улыбались...

А ранним утром, когда еще предрассветные сумерки окутывали город, с поезда на плохо освещенную платформу сошли двое, он и она. Оба высокие, худые, оба с рыжими, будто выкрашенными хной, волосами; оба с лицами, густо усеянными веснушками. Они молча прошли в здание вокзала, постояли у закрытого буфета, посмотрели на высокие пустующие столики-стойки с круглыми мраморными досками, оглядели зал, о чем-то тихо переговорились и вышли из здания вокзала в сторону города. Небо

начало чуть светлеть. Безлюдная площадь едва освещалась фонарями, а тишину лишь изредка нарушал шум случайной автомашины, внезапный скрип тормозов и гулкая перебранка двух диспетчеров через радиосвязь.

Мужчина с женщиной вошли в привокзальный скверик, нашли в глубине скамейку и сели в окружение мощных зарослей сирени. Женщина поставила на колени черную хозяйственную сумку искусственной кожи, вынула газетный сверток с едой, бутылку водки, стакан. Пока мужчина открывал водку, она, оглядевшись по сторонам, развязала пояс на платье, задрала подол и стала отвязывать небольшую подушку – думку. Беременность исчезла. Женщина поправила платье, застегнулась и развернула сверток с малосольными огурцами, свежими помидорами, ливерной колбасой и черным хлебом. Он налил полстакана водки и протянул женщине. Та выпила, передернулась в ознобе и потянулась к газете с едой. Он тоже выпил. Некоторое время молчали, только слышилось глухое чавканье. Потом она свернула из газеты тугую пробку, заткнула бутылку с водкой и поставила в сумку.

– Давай деньги, – сказала мужчине. Тот нагнулся, снял туфлю, достал из носка мятый комок и протянул женщине. Она пересчитала деньги.

– Сорок рублей.

Достала из лифчика свои деньги и соединила вместе, разгладив бумажки.

– Семьдесят пять. И вчера девяносто.

– Хватит, – отозвался мужчина.

– Да где хватит? У Колюшки на зиму пальто нет. Васька пошел, теперь обувь только подавай ... Мать совсем плохая. Сам знаешь, как лекарства достаем, и сколько они нам стоят!

– Ты ему денег оставила сколько-нибудь? – спросил он.

– Некогда мне было там разглядывать. Обойдется. Телеграмму даст. Вон какие оба сытые. Образованные, про институты рассуждают.

– Мы же с тобой договаривались, – не брать всех денег. А вдруг у него ничего не осталось?

Женщина презрительно хмыкнула.

– Нехорошо это все. Бог нас накажет.

В глазах мужчины была тоска. Он машинально жевал хлеб с ливерной колбасой, и скулы размеренно играли желваками.

– Бог-то бог, да будь сам не плох! – зло бросила женщина. – Пусть он накажет тех, кто жрет от пуза, да всю жизнь как сыр в масле катается. А ты? Ты же со своим здоровьем больше ста рублей никогда не заработаешь! На твою пенсию, на тридцать два рубля детей растить? Или в детдом их, чтобы они там как ты горе помыкали? Вспомни детдом. И я, даже если пойду

работать, больше полдня работать не смогу. Ксюшка – тощенькая, один скелет. В сад не пристроить. Да и где там? То воспаление легких, то бронхит, то еще хреновина какая! Из болезней не выходит... И Васька не лучше. Им усиленное питание нужно.

Она заплакала вдруг, тихо, по-собачьи заскулила:

– Я что, железная что-ли? Мне иной раз петлю на себя легче накинуть, чем в вагон идти.

– Ладно, будет!.. Ну, будет, будет! Проживем!

Мужчина подвинулся к ней, стал гладить по волосам. Она уткнулась в него, ее плечи вздрагивали, и он все гладил ее и гладил.

Уже совсем рассвело. Вокзальные часы показывали шесть с минутами. В тишину все чаще врывались автомобильные сигналы, скрипели тормоза, громыхал по рельсам трамвай. Площадь заполнялась людьми.

– Идем, автобусы уже пошли. Еще до автостанции доехать нужно. На свой автобус опоздаем.

Мужчина встал. Женщина аккуратно завернула остатки еды, положила в сумку.

– Слава Богу, в восемь будем дома.

И они пошли к автобусной остановке, худые, нескладные, неустроенные и жалкие.

Орёл, 1984 г.

ИЗМЕНА

Умерла Володькина бабушка, Дарья. Было ей под девяносто, и жила она в семье своего старшего сына Михаила. Володька бабушку любил, хотя виделся с ней редко, и когда ему сообщили о ее кончине, не пойти на похороны не мог. Отца давно не было в живых, а мать не пошла, потому что не пошел отчим, который считал, что знаться с родственниками бывшего мужа своей жены дело кляузное. Жена Володьки Ирина родственников мужа тоже не жаловала. Ей претил откровенный сельский налет, который сопровождал их быт. Какой-то вечный «кагалт». Если Михаил ехал куда-то на своей машине, то туда набивалось народу до отказа. Ходили они кучей. А все их праздники были шумными, с обильной выпивкой и частушками. Но деваться было некуда, и Ирина на похороны вместе с мужем пошла.

Хоронили Дарью с попом. Как и положено, отпели в церкви, опустили в могилу, засыпали и поставили временный крест, сколоченный из сосновых брусков в столярной мастерской на предприятии, где работал Михаил.

У могилы стали поминать, разливая водку в небольшие граненые стаканчики.

К Володьке, жавшемуся с женой к ограде соседней могилы, подошел Колька Павлет, красавец с шапкой русых волнистых волос на крупной голове.

– Ты что-то, племяш, совсем загордился. Чураешься нас что-ли?

На нем ладно сидело демисезонное пальто. В его красоте было что-то грубое, от топора, но был он хорош, и скроен крепко. По мускулистой шее и широким скулам видно было, что он недюженно силен. Даже через пальто ощущалась мощь бицепсов.

«Здоров, черт. Чистый Геракл», – с неудовольствием отметил Володька и покосился на жену, которая с любопытством поглядывала на Павлета.

Володька знал, что бабы не давали Павлету проходу и липли к нему, словно мухи к сладкому, хотя у того была жена и двое детей. Жену, бесцветную робкую женщину, мать его двух сыновей, Павлет жалел, но с ней не считался, а она угождала ему всячески, смотрела сквозь пальцы на его похождения, и редкие ласки его принимала как подарки.

– Да все как-то времени нет. Сам знаешь, с работы на работу. То, да се, – протянул Володька.

– Ладно заливать-то, – обнажил Павлет ровный ряд белых зубов. – Знакомь с женой, – потребовал он. – Слышал, женился, а что да как, толком не знаю. Ириной звать, кажется?

– Ирина.

– Очень приятно. – Павлет долго держал руку Ирины в своей огромной лапице и, не сводя с нее своего кобелиного взгляда, говорил комплементы:

– Ишь, какую бабенку отхватил. Все при ней. Хороша!

Он откровенно раздевал ее, но делал это с наивным восторгом первозданного человека, и Ирина, к удивлению своему, не чувствовала стыда. Наоборот, что-то сладкое и тревожное будоражило и волновало кровь. Она кокетливо улыбалась.

– Работаешь все там же? – повернулся Павлет к Володьке.

– Там же, а ты ?

– Да все в своем НИИ. Восемнадцать лет сельское хозяйство поднимаю. Нам сельским при сельском хозяйстве и состоять надо, – засмеялся Павлет.

– У вас, говорят, там хорошо только кандидатов выращивают.

– Это точно. Кандидатов стало как собак. Кандидат на кандидате сидит... Четыре доктора. Мой шеф Рыжковский тоже докторскую зимой защитил. А темы, хоть в «Крокодил» посылай. Как только ВАК пропускает: «Роль силоса в развитии животноводства».

Павлет искоса поглядывал на Ирину, проверяя впечатление, которое он произвел, рассуждая про кандидатов. Та с интересом слушала.

– Да сейчас, вроде, защититься-то не просто, – вставил Володька.

– Да брось ты, – отмахнулся Павлет. – В институте существует план научной работы, где определено, сколько надо подготовить кандидатов, сколько докторов. И готовят, за уши тянут. А в ВАКе тоже не дураки сидят, знают, кому помочь. Институт, слава Богу, один такой на всю страну...

– Так уж и один? – усомнился Володька.

– Серьезно говорю, – обиделся Павлет. – Институты такие есть, конечно, но с такой базой как наша, вряд ли. У нас одна селекционная станция больше тысячи гектаров.

Подошла Клавдия, жена Михаила, и позвала помянуть усопшую. Павлет обласкал взглядом Ирину и пошел за Клавдией.

– Он тебе кто? – спросила Ирина мужа.

– Седьмая вода на киселе, – отмахнулся Володька. – То ли двоюродный, то ли троюродный дядька по отцу.

– Научный сотрудник какой-нибудь?

– Что? – усмехнулся Володька. – Шофер. Раньше возил директора, теперь водит институтский автобус... Что-то ты им больно интересуешься, – подозрительно прищурился Володька. – Понравился что ли?

– А что? Ничего мужчина, – засмеялась Ирина и скользнула взглядом по мужу, будто сравнивая с Павлетом.

Володька обиженно засопел и молча пошел туда, где поминали Дарью. Был он среднего роста, при ходьбе сутулился и бестолково размахивал руками, отчего казался меньше, чем был на самом деле.

Ирине с Володькой налили водки. Ирина выпила два глотка и взяла из протянутого кулька конфету. Володька выпил до дна, и Ирина, не отягощенная редким пристрастием мужа к водке, неожиданно для себя прошипела с раздражением:

– Дорвался?

Володька вспыхнул и чудом сдержался, погасив вспыхнувшую в душе обиду. Только стиснул зубы, и желваки заиграли на скулах.

Когда шли через кладбище, к Володьке прицепился муж тетки Шуры Иван. Он успел хорошо помянуть Дарью и по своему пьяному обыкновению плел несуразное. Его душила жалость, он всех любил, не знал, как это выразить, и время от времени звал: «Володь, а Володь?» Володька поворачивался слушать, но Иван только кивал головой и подмигивал двумя глазами. Мол, вишь как? Так-то вот все! От бессилия выразить то, что неясно таилось в подсознании, он плакал, размазывая ладонью слезы по лицу.

– Господи, вот полудурок-то, – подкралась боком Шура.– А ну, отстать от людей, пьянь! – отогнала она Ивана от Володьки.

Иван безропотно отстал и плелся сзади.

За воротами кладбища полезли в похоронный грузовик. Лезли с двух сторон по колесу через закрытые борта и садились прямо на еловые ветки. Благопристойность осталось за воротами. Говорили оживленно, спорили за место. В кабину было села Клавдия, но Михаил вытурил ее, отправив в кузов, и сам уселся рядом с водителем.

В кузове всем места не хватило. Ирина с Володькой, Павлет, и еще несколько человек потащились к трамвайной остановке. В трамвае все держались кучкой на задней площадке. Садиться никто не решался, будто боялись перепутаться с остальными пассажирами. Павлет все терся возле Володьки с Ириной. Он вздохнул расписывал свои края, причем обращался больше к Ирине.

– Да у нас на станции лучше любого курорта. Ни пыли, ни гари, – голубем ворковал Павлет. – Воздух...

– Чист и прозрачен, – скривил губы в усмешке Володька. Павлет его все больше раздражал.

– Чист и прозрачен, – серьезно подтвердил Павлет. – Опять же, пруд, летом грибы пойдут, ягоды. Вы вот что, – решил Павлет, обволакивая Ирину бесовским взглядом. – Как чуть потеплеет – сразу ко мне. Походим по лесу, покажу ягодные места, на пруд сходим.

Ирина живо воспринимала слова Павлета, она то и дело поправляла непослушную челку, выбивавшуюся

из-под берета, а Володька, накупившись, слушал треп Павлета и недовольно поглядывал на Ирину...

Поминали Дарью в два захода. Сначала за столы усадили старушек и соседей. Старушки расположились было основательно, но их быстро спровадили, и они, расходясь, благодарили, лицемерно нахваливая стол друг другу, чтобы слышали родственники и знали, что они довольны.

Наконец за стол полезли родственники. Володька с Ириной сели рядом по центру стола. Сидели тесно, мешая друг другу локтями. Павлет отодвинул от Ирины Клавдию и втиснулся между ними. Клавдия защипела змеей и заерзала на лавке, устраиваясь удобней. Володька недовольно покосился в его сторону и отвернулся, напустив на себя безразличный вид.

Расселись. Стали наливать в граненые стаканы водку, раскладывать по тарелкам закуску. Но никто не решался выпить. Вроде чего-то не хватало. Поглядывали на Михаила. Тот видел, что все ждут его слова и лихорадочно искал слова, которые нужно было сказать о матери. И слова эти в нем были, он их чувствовал, знал, но встал и понес ахиною про то, как его ценят на работе, как он всего добился сам: и на механика выучился, и еще курсы газооператоров закончил; так что на кусок хлеба всегда заработает. К матери эти слова отношения имели только в том

смысле, что она его, Михаила, родила, но бессвязную речь его выслушали серьезно. Хоть и был он жлобоват, родственники с ним считались и почитали за главного. Михаил умел жить. У него была трехкомнатная квартира, полированная мебель, на которую молилась Клавдия, и машина «Жигули».

– Ладно, про себя расскажешь потом, – перебил Павлет Михаила. – Давайте лучше Дарью помянем. Встал и выпил налитые полстакана водки до дна. Михаил хотел что-то сказать еще, но за столом уже активно поминали Дарью, и не обращали теперь на него никакого внимания.

У Ирины от выпитой стопки лицо некрасиво передернулось, и гримаса оставалась на лице, пока она тыкала вилкой в тарелку с холодцом. Володька с коровьим равнодушием водил скулами, перетирая кружок вареной колбасы.

Стол был обильный: холодец, селедка, сыр, вареная колбаса, консервы «Сельдь иваси» и «Скумбрия в томатном соусе», вываленные из банок в глубокие тарелки; котлеты с картофельным пюре. Все грудилось беспорядочно на столе, все крупно нарезано: хлеб, колбаса; даже котлеты были огромные, в ладонь.

Некоторое время за столом стояла тишина. Только слышалось металлическое позвякивание вилок о тарелки, вздохи и чавканье.

Михаил, помня о своем старшинстве, снова поднялся. Глаза его масляно поблескивали, но на этот раз он сказал коротко и по существу: «Давайте выпьем за мать. Чтоб на нас там не обижалась. Кажись, все по-человечески». Выпили по второму разу. Шура принялась вдруг опять голосить. Ее успокаивали. «От этого не уйдешь, – изрекла младшая сестра Нюра. – И так пожила, слава Богу!»

Шура быстро успокоилась. Скоро заговорили свободнее, за столом стало оживленно.

После второй рюмки Нюра вдруг затеяла склону с Шурой.

– Плохо нам без матери будет, – вздохнула Шура.
– Любила я ее.

– Любила, – ехидно сказала Нюра. – Потому и клубнику со своей дачи по базарной цене продавала.

– Брешешь! – ошетибилась Шура. – Я клубнику Клавке, а не матери приносила. А чегой-то я ей за так должна отдавать? Я работаю так же, как и она. Не богаче всех.

– Клавке принесла, – передразнила Нюра. – А мать не с Клавкой живет. Как только совести хватает? Нет, чтоб принести – на, мол, мам.

– Подлюка ты, Нюрка! – взорвалась Шура. – Кто бы говорил, только не ты. Помолчала бы лучше. Ты матери много принесла? Твой Федор из последних грошей тридцатку у матери занял, да так и не отдал.

– А ну, хватит! – цыкнул на них Михаил.– Забыли, где сидите? Совсем охренели?

Шура уже поставила руки в боки и набрала побольше воздуха в легкие, готовясь разнести Нюрку, но от окрика Николая опомнилась. Груды сестер тяжело вздымались, а из глаз, когда они встречались взглядами, летели разящие молнии, сталкивались где-то на полпути, и, казалось, треск идет по комнате.

Охмелевший Иван вдруг затянул «Ой цветет калина». Разгоряченная Шура с разворота подцепила его локтем, и он кувыркнулся со скамейки на пол, попытался встать, но дальше четверенек дело не шло. Михаил с Шурой подняли его и увели на кухню, где уложили на топчан.

Павлет пил и не пьянел. Он старательно ухаживал за Ириной, подливал в рюмку водку, подкладывал закуску и, протягиваясь к тарелкам, то и дело, как бы невзначай, цеплял ее то за бок, то за грудь, хотя и так сидели тесно, касаясь друг друга.

Ирина почти не пила, но ухаживания с замиранием души принимала. В этой игре, которую затеял Павлет, было что-то греховное, но до обморока сладостное, и она не противилась этому; и любопытно было и тревожно, и хотелось броситься в грех, как в омут, с головой.

Володька только подливал себе в стакан и пьянел все больше и больше. Ирина поглядывала на мужа

настороженно и, хотя сама дала ему волю, теперь боялась за него, ненавидела и жалела себя, не сознавая, что этой жалостью старается оправдать свой флирт.

Когда Володька встал и нетвердо пошел в коридор курить, Ирина вышла за ним и дала волю раздражению.

– Нажрался? – Учти, я домой тебя тащить не буду.

– Я трезвый, – тяжело выговорил Володька. И вдруг свирепым взглядом вцепился в Ирину и рывкнул:

– Иди отсюда, гадюка!

Ирина вспыхнула и, ни слова ни говоря, тенью скользнула в комнату. Застолье базарно гудело. Разбились парами и кричали о своих делах, обидах, болезнях.

Шура плакалась Клавдиной соседке Вере на своего Ивана.

– Убила бы, паразита. Я с ним и по-хорошему, и по-плохому – ничего не помогает, – жаловалась она. – Вер, ведь без просыпу. Прошлый раз чуть дачу не спалил. Хорошо мы с Валькой подоспели. Как пьяный курил, так с папиросой и уснул. В одеяле полуметровая дырка. Вата тлела, дым, гарь по всей комнате – так хоть бы шевельнулся! Ох, и зло ж меня взяло. Я его возила за волосыя ...всю морду раскровянила. Да что толку-то? Проспался – и за старое.

Шура всхлипнула и вдруг зло блеснула глазами:

– А я терплю, терплю, а потом сдам во Мценск, в ЛТП¹, там быстро вылечат.

Вера наклонилась к Шуре:

– А я вот что тебе скажу, — зашептала она. – Есть одно средство. У нас сосед хромой, Юрка. Уж как пил! Все пропивал. С себя вещи продавал... Сейчас в рот не берет. Как подменили.

Шура заинтересованно посмотрела на Веру.

– Есть одна бабка, ее все Шкрипка зовут. С трех раз заговаривает со святой водой и дает травку, а травку нужно в еду подмешать. И все! После этого водку на дух не принимает.

Шура заволновалась:

– Веранька, милая, век буду Бога молить. Сведи меня с бабкой этой.

В глазах была мольба.

– Свести не долго. Только не за так. Шкрипка двадцать пять рублей берет ... Ну. и мне пятерочку.

– Да кабы вылечить, оно и не жалко, – нерешительно сказала Шура. Вера уловила эту заминку и, приставив к ее уху ладонь, зашептала что-то. Зинка также отвечала шепотом.

А рядом тетка Марья давала рецепты «от солей» жене Михаила Клавдии:

¹ ЛТП – Лечебно трудовой профилакторий, который действовал в СССР, как средство исправления увлекающихся алкоголем. Часто в ЛТП попадали просто по заявлению близких родственников, жены или тещи в результате семейного конфликта.

– Ты попробуй кедровые орехи. Двести граммов не очищенных орехов на поллитру спирта. Потом залей спиртом, и пусть стоят две недели, – учила Марья.– Потом на ночь растирай больное место. Говорят, хорошо помогает.

– Не знаю. Чего только не пробовала. И адамов корень настаивала, и рис натошак три месяца ела, и змеиным ядом растиралась, и пчелиным – ничего не помогает.

– Ну тогда тебе надо ехать на Украину к костолому. Знаменитый дед, говорят. Про него даже в газетах писали. Всех на ноги ставит.

– Это куда Полякову Нинку муж возил?

– Нет, Сашка Нинку в Молдавию возил. Там свой костолом есть. Но тот больше массажем берет. А это место называется Кобеляки, а фамилия дядьки – Косьян. У меня все записано: и как доехать и как стать к нему на очередь.

– Ну, не знаю, как там. А только Нинка Полякова, опять в больнице лежит. Сашка говорит, что две тыщи отвезли. Сколько прожили, пока очереди дождалась! Народищу, говорит, тьма. Все квартиры забиты. А за квартиру местные пять рублей с носа берут. Дороже, чем в любом Сочи.

– Это ты ничего не знаешь, – поджимая от обиды губы, возразила тетка Марья. У Нинки, после того как она туда съездила, все как рукой сняло. Только ей

нужен был покой, а она сразу на самолет, да потом поездом. Ее растрясло, что-то там опять в позвоночнике сместилось, и стало хуже. Вот в больницу и попала. Здесь сами виноваты. Потом, этот, который в Молдавии, больше массажем действует, а в Кобеляках, который Косьян, тот нащупывает вывих какой и вправляет. Даже, говорят, пальцами соли разбивает. У нас на работе бухгалтер, Петр Афанасьевич, без палки ходить уже не мог. Извелся, в щепку превратился. Сейчас не узнать. Как боров стал...

Ирина села на свое место. Павлет что-то ей говорил, она не слушала и кисло улыбалась, искоса поглядывая на двери. Вошел Володька. Он втиснулся на свое место и сразу же налил в стакан водки.

От выпитого Володька был бледен. Глаза его становились все более бессмысленными, а отяжелевшие веки ползли вниз, и он с трудом их разлеплял, закатывая при этом глаза куда-то под брови.

Ирина все это видела, у нее кипело все внутри, но она не подавала вида. А когда Володька взял ее за локоть и глухо, заплетающимся языком потребовал: «Пойдем домой», она вырвала руку и процедила сквозь зубы: «Нажрался – иди. Я с тобой никуда не пойду».

Володька поднялся и, ни с кем не попрощавшись, ушел.

Ирина сидела как на иголках. Павлет жужжал ей что-то в ухо, но ей было уже не до Павлета, она думала о Володьке и изводилась. То ей казалось, что он где-нибудь завалится и его заберут в вытрезвитель, или заведет шпана куда-нибудь: нож в бок – и поминай как звали, а то спяну под машину попадет. В конце концов Ирина не выдержала:

– Извините! – перебила она Павлета. – Мне надо домой.

– Я провожу, – сказал Павлет.

– Нет, нет! Не надо. Я сама, – торопливо ответила Ирина. Встала и пошла к Михаилу, чтобы попрощаться, но тот, багровый от духоты и выпитой водки, стал шумно уговаривать ее остаться посидеть еще.

– Не могу. Володька пьяный ушел. Как бы чего не случилось.

Только тут Михаил заметил, что Володьки нет. Ирина сняла с вешалки в прихожей свой плащ и вышла, просовывая на ходу руки в рукава. Внизу ее догнал Павлет.

– Я же сказала – не надо! – Ирина недовольно посмотрела на Павлета.

Павлет, казалось, не заметил ее настроения. Он широко улыбнулся, показав ровный ряд безукоризненных зубов.

– А если кто остановит? Не страшно?

– Не страшно, – голос Ирины был все еще сердит.

– Сейчас не страшно. Потому что со мной.

– Да ну вас, – отмахнулась Ирина от Павлета как от назойливой мухи.

И в автобусе, и когда шли пешком, Павлет без умолку болтал, стараясь развеселить Ирину. Он шутил, рассказывал анекдоты, и это у него хорошо получалось. Но Ирина кроме раздражения и усталости ничего не чувствовала. У своего подъезда она немного задержалась, ожидая, что Павлет повернется и уйдет, но он открыл дверь, мягко, но решительно втолкнул ее в подъезд и втиснулся сам. И она вдруг оказалась с ним лицом к лицу в темноте под лестницей. Это ее так ошеломило, что она растерялась и молчала, инстинктивно напрягаясь, когда Павлет притянул ее к себе и стал целовать. Она билась в его руках цыпленком, задыхалась, отворачивала лицо, и горячие поцелуи приходились на щеки, шею.

– Вы с ума сошли! – выдавила из себя Ирина. Она освободила руки и выставила их перед собой, отталкиваясь о каменную Павлетову грудь.

– Отпусти, – шепотом потребовала она, боясь, что ее могут услышать.

Павлет ослабил железные тиски, но совсем Ирину не отпустил. А у Ирины дрожали и подкашивались ноги. Она вдруг как-то ослабла, и у нее не было сил сопротивляться. Она еще пыталась оттолкнуть руки

Павлета, когда он задрал ей платье и начал судорожно стягивать трусы. Это ему плохо удавалось, и он рванул их с силой так, что лопнула резинка. Потом она почувствовала тепло его обнаженного тела и уступила ему, плохо соображая что-либо, и не стала кричать и звать на помощь. Он вошел в нее грубо, и его судорожные толчки вызывали боль, но в какой-то момент она ощутила желание, которое все усиливалось и закончилось вулканическим извержением и невольным ее вскриком.

Все произошло как-то скоро. Ирина стояла обессиленная, расслабленно опустив руки, а Павлет тяжело дышал и все еще держал ее своими медвежьими лапами.

Пусти, – вяло попросила Ирина, высвобождая ногу из цепкой павлетовой хватки.

Он отпустил ее, и Ирина, нащупав упавшую сумку, сунула в нее сползшие на щиколотку трусы и, придерживаясь за перила, стала медленно переступать ступеньки лестницы, поднимаясь к себе на третий этаж.

– Я тебе завтра позвоню на работу, – сказал вслед Павлет.

Ирина не ответила.

Павлет слышал, как она нащупывает ключом отверстие замка и открывает двери. Шелкнул английский замок – двери закрылись. Павлет с минуту

еще постоял, прислушиваясь к шорохам, вышел на улицу, осторожно закрывая дверь...

Ирина с порога услышала храп, потом увидела Володькины туфли. Туфли валялись посреди коридора, грязные и даже не расшнурованные. Она ногой отшвырнула туфли к порогу и как была в плаще и сапогах, ринулась в спальню. Володька лежал на кровати одетый, поверх покрывала. Из полуоткрытого рта вырывался с каким-то орлиным клетотом храп. Одна нога свесилась на пол, а руки были сложены на груди, как у мертвой Дарьи. И тут Ирина дала волю слезам. Слезы душили ее, и она, словно во сне, снимала плащ и стягивала сапоги в прихожей. Потом пошла в ванную, разделась и долго мылась, будто вместе с липким потом хотела смыть грех своего падения. Она ненавидела свою плоть и ненавидела себя. Но не за то, что уступила, – в конце концов, этот Павлет взял ее силой, – а за то, что поддалась похотливому желанию, которое вдруг охватило ее, отодвинув реальность происходящего, заставив забыть обо всем на свете. И только в этом она видела – или хотела видеть – свою измену.

Войдя в спальню, Ирина подошла к кровати и стала изо всех сил трясти мужа, пытаясь разбудить, но он только нечленораздельно мычал и вращал мутными белками. Поняв, что все попытки бесполезны, Ирина ткнула его кулаком в бок и снова заплакала.

Размазывая слезы по лицу, она достала из шифоньера простынь и одеяло и пошла спать в зал на диван. Вернулась за подушкой, сразу не нашла и выдернула подушку из-под Володькиной головы: голова откинулась на покрывало, и дыхание стало тяжелым, а храп прорывался, словно преодолевая препятствие, с трудом. Тогда Ирина достала из кладовой старое пальто и, свернув, подсунула его под голову мужа.

Она долго не могла уснуть, заставляя себя не думать ни о Павлете, ни о муже, но невольно думала, и ей одинаково были сейчас противны и муж, и Павлет, и сама себе она была противна тоже, потому что затеяла двусмысленную игру с едва знакомым человеком, и со стыдом вспоминала подъезд и себя с Павлетом под лестницей.

Мысли путались, в ушах стали звучать пьяные голоса Володькиных родственников, потом появился батюшка в рясе и пропел трижды «аллилуйя».

– Завтра уйду к маме, – уже где-то во сне решила Ирина и уснула незаметно со слезами на глазах.

Орёл, 1982 г.

НЕ ХУЖЕ ДРУГИХ

Едва Николай переступил порог квартиры, как Алка, не дав ему опомниться, сходу сообщила:

– Инженеры новый холодильник купили.

– Ну и что? Купили и купили, — было отмахнулся Николай, но тут же, вспомнив завистливый Алкин характер, подозрительно посмотрел на нее, стараясь по лицу определить, что она там еще задумала, и ждал, что последует дальше. Потому что, когда Анохины купили палас, Алка буквально через несколько дней достала и приволокла шикарный ковер два с половиной на три с половиной, а когда те же Анохины привезли тульскую стенку, она неделю скулила, выторговывая у Николая цветной телевизор, чтобы утереть нос Анохиным.

Но Алка ничего больше не сказала и пошла на кухню греметь кастрюлями.

С работы Николай приходил голодный и злой. Жена и дочка к этому привыкли, и пока он не поест, старались его не трогать. Но плотно поужинав, а кормила его Алка сытно, он на глазах оттаивал и, разомлев от сытости, становился вялым и добродушным как домашний кот.

Дождавшись пока Николай помоеется и

переоденется в чистое, Алка позвала его к столу и нетерпеливо поглядывала на тарелки, содержимое которых Николай и так поглощал с завидным аппетитом. Наконец, когда он взялся за компот, она, как бы невзначай, сказала:

В «Мелодию» новые пианино завезли.

– Ну? — поднял голову Николай, не совсем понимая, куда она клонит.

– Брать будем?

Николай поперхнулся компотом. И закашлял так, что слезы выступи на глазах.

– На что нам? – с трудом выговорил он. – Что с ним делать?

– А что мы, хуже других? – обиделась вдруг Алка.
– У Митиных есть, у Фениных на шестом этаже есть. Эрлихи тоже недавно купили.

– Да кто на нем играть-то будет?

– А Илонка. Кто ж еще?

– У нее же слуха нет. Ее и в школу музыкальную не примут. Сама помнишь, как в саду учительница детишек отбирала в подготовительную группу, а наша не прошла, потому что слуха нет.

– Не примут, не примут, – передразнила Алка. – Не примут, учителя найдем.

– Ну, если ума Бог не дал, валяй, покупай.

Николай лениво встал и, с трудом потянувшись, равнодушно зевнул. Ему, в общем-то, было наплевать.

Пусть, что хочет, то и делает. Если ей денег не жалко, то ему и подавно. Слава Богу, не бедные. Тем не менее, он не удержался и ехидно бросил:

– Продавать через месяц или через два будем?

– Не беспокойся, – заверила Алка. – Продавать не будем. Так стоять будет и то красота. А может, когда из гостей кто сыграет.

– Сиди, – усмехнулся Николай. – У тебя гости: продавщицы да буфетчицы.

– А к тебе шишки большие ходят? – обиделась Алка. – Одна шоферня.

– По Сеньке и шапка, – весело отбрехнулся Николай.

– Ко мне, по крайней мере, Анна Степановна, учительница, заходит и Вера Семеновна, бухгалтерша из института.

– Ух ты! Ваше благородие! Анна Степановна, Вера Семеновна, – усмехнулся Николай. – Колбасу им носишь – вот и ходят.

Алка зло посмотрела на мужа, хотела ответить чем-то хлестким, но сдержалась, сообразив, что сейчас затевать скандал было невыгодно, и ушла от греха в бабкину комнату, где Илонка делала уроки.

На следующий день Николай отпросился пораньше с работы и часа в три уже стоял у магазина «Мелодия», ожидая настройщика и Алку с деньгами. Его приятель Витек должен был подъехать на машине позже.

Настройщиком оказался молодой мужчина с широкими залысинами и густыми рыжеватыми усами, подстриженными щеточкой. Он сразу подошел к Николаю, безошибочно определяя в нем хозяина, и назваля:

– Валентин... Значит, решили приобрести инструмент?

От него пахло вином и было видно, что он на легком веселе. Но Николаю он понравился. Понравилось, что был он в костюме и галстук. Сам Николай галстук не носил даже по праздникам, не то что в будний день. И выговор не такой, как у него с Алкой. Все слова ложатся одно к другому, как кирпичики по раствору. И концы твердые. Сразу видно, человек образованный. И Николаю лестно было, что Валентин вроде как на него работает. Эта мысль возвысила его и приятным теплом согрела душу.

– Да вот баба пристала, дочке,— снисходительно объяснил Николай. Он на людях говорил о жене «баба» или «моя дура», подчеркивая таким образом свою мужскую значимость. Хотя Алку любил. Тем более, на его авторитет она не посягала.

Алки еще не было, и Николай с Валентином зашли в магазин. Пианино стояли в салоне магазина в два ряда, сверкая темной полировкой, в которой двигались многочисленные ноги поселителей.

– Какую марку решили брать? – поинтересовался Валентин.

– Не знаю, – пожал плечами Николай. – Сейчас сама придет, пусть выбирает.

– Лучше из последней партии. Вот эти, «Лирика». Конечно, подороже, зато меньше габаритами, оформлено хорошо, да и звук приятный.

Валентин пробежал пальцами по клавишам, останавливаясь на некоторых, и пробуя их еще и еще раз. Потом взял несколько аккордов. Николай почувствовал, как теплая волна приятно прокатилась по телу, и он сжался весь, ощутив вдруг необычную для него робость. Ему были незнакомы подобные ощущения, и он чувствовал себя неловко среди гармонии этих звуков, но получал удовольствие от причастности к ним, как будущий владелец инструмента.

– Слышь? – спросил он Валентина с какой-то дурацкой ухмылкой. – Все спросить хочу. Объясни мне, зачем здесь эти две педали, вроде как у машины?

И хохотнул неловко, будто полностью отдавал себя, дурака, во власть знающего человека.

Валентин усмехнулся:

– Это для долготы звука. Смотри.

И он взял аккорд, нажимая и отпуская педаль, показывал как аккорд звучит, бесконечно уходя и постепенно замирая или резко обрываясь вдруг.

– Скажи ты! – довольно растянул губы Николай.

Теперь он уже сам загорелся желанием купить пианино. «Действительно, места не простоит и есть не попросит», – думал он и хвалил мысленно Алку за то, что она так хорошо придумала с пианино.

Алки все не было, и Николай занервничал. Он с нетерпением поглядывал на дверь и раза два выбегая на улицу. Наконец он увидел, как Алка, выйдя из автобуса, несет свое драгоценное тело через улицу, как-то нетвердо ступая ногами, непривычными к шатким шпилькам, и балансируя хозяйственной сумкой и закрытым складным зонтиком. Увидев Николая, она заулыбалась, но Николай разом осадил ее:

– Что лыбишься? Смазать бы тебе раз!.. Вырядилась. Барыня хренова... Что, пораньше нельзя было придти? Должны ждать ее тут.

– Автобуса полчаса ждала, – стала объяснять Алка. – Идут и идут одни вторые, а пятого нет и нет.

Николай повел ее к пианино, которое отобрал Валентин. Он попросил Валентина еще раз показать, как работают педали, и тот взял несколько аккордов, демонстрируя работу педалей.

– Поняла, для чего? Чтоб дольше звук тянулся, – поспешно объяснил Николай и торжествующе посмотрел на жену.

Алке пианино понравилось, но она с женской дотошностью все же осмотрела и другие инструменты.

– А вот у некоторых вместо двух три педали, – заметала она.

– А это модератор дая заглушки звука, – сказал Валентин, поймав вопросительный взгляд Алки, пояснил:

– Ну, чтобы не громко было, когда играет. Соседи там, да и самим надоедает.

– На то и покупаем, чтоб громко было. Опять же, это семьсот стоит, а то восемьсот. Выходит, за одну педаль – сотню. обойдемся.

Пока Алка платила в кассу деньги, Николай пошел договариваться с грузчиками. Те сразу заломили по десятке и, даже узнав, что у него второй этаж, цены не сбавили. Были они пьяненькие, но Николай, поколебавшись, согласился, потому что деваться было некуда.

На настройщика рассчитывать не приходилось. Так что, крути не крути, а двух мужиков еще так и так надо.

– Вы мне пианино не разгрохаете? – сказал Николай, с опаской поглядывая на грузчиков.

– Хозяин! – укоризненно покачал головой старший, блеснув бельмом, – Зачем напраслину говорить? Десять лет возим.

В его голосе была неподдельная обида, и Николай успокоился. Зато Алка, увидев пьяных грузчиков, зашипела змеей, но он отмахнулся от нее и не стал даже разговаривать.

– Сейчас сама у меня грузить будешь! – цыкнул он

на нее, и она, обидевшись, стала с безразличным видом в стороне, скрестив руки на груди.

– Куда грузить, капитан? – серьезно спросил второй грузчик. Николай заулыбался на «капитана».

Витек уже стоял у магазина и по сигналу стал подгонять машину к эстакаде. Пианино вкатили в кузов в один момент, закрепили, закрыли борт. И здесь произошла маленькая заминка. Встал вопрос, куда сажать грузчиков. В открытом кузове ехать нельзя. В кабину можно посадить только одного.

– Ал, что делать? – растерялся Николай.

– Ты мужик, ты и думай! – сказала Алка и полезла в кабину.

– А ну вылезай! – расสวิрепел Николай, хватая ее за руку. Алка испуганно вжалась в сидение.

– Давай, давай!.. Расселась, чулында!

Она вылетела пробкой из машины, и Николай посадил на ее место Валентина, а сам пошел на дорогу ловить такси.

Грузчики уважительно посмотрели на Николая.

Такси пролетали мимо, а грузчики поглядывали в его сторону, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Витек с настройщиком и пианино уехали, а он все еще стоял на краю тротуара размахивал рукой. И уже совсем отчаялся оастановить такси, когда к тротуару свернула и притормозила частная «Волга».

– Куда ехать? – спросил владелец «Волги».

– Слушай, друг! Подбрось до Пролетарской.

– Садись.

– Николай замахал грузчиком, и те полезли на заднее сидение, оставляя на ковровой дорожке следы опилок и мела от зачуханных халатов. Хозяин «Волги» досадливо поерзал на сидении и недоброжелательно посмотрел на Николая,

– Понимаешь, пианино купил, – возбужденно заговорил Николай. – А в кузове по городу нельзя. А тут, понимаешь, как на зло, ни одного такси.

Частник не выразил по этому поводу никакой радости и молча сунул кассету в магнитофон. В салон ворвалась ритмичная музыка, и высокий пронзительный голос ударил по барабанным перепонкам, оглушив Николая. Он замолчал и краем глаза посмотрел на владельца «Волги».

Тот непринужденно вел машину, легко касаясь руками баранки. В белой рубашке с закатанными ниже локтей рукавами, с темно-серым, в легкую красную крапинку, галстуке. Мышиного цвета пиджак висел на крючке сбоку от него. Машина мягко шла по асфальту, модная музыка приятно грела кровь, и Николай от всего этого комфорта чуть оробел и больше уже до самого дома не заговаривал. На минуту он представил себя на месте «шиша» за рулем «Волги», и в нем шевельнулось что-то вроде легкого презрения к пешей братии, смурывавшей по тротуарам и злобствующей в городском транспорте.

На повороте к мосту обогнали грузовик Витька с пианино в кузове. Пианино сползло на бок, но Николай даже не успел дать знак рукой.

«Волга» подкатила к самому подъезду. Николай достал из кармана пиджака смятые в кучку деньги и сдуру вместо тройка дал пятерку. Тут же разозлился на себя. «Чтоб у тебя колеса по дороге отвалились! Гусь лапчатый», – пожелал он в сердцах «шишу». И тут же решил: «Все! Завожу «Жигули».

Грузчики выходить не спешили. Они с пьяной настойчивостью стали уговаривать хозяина «Волги» подождать их и отвезти назад к магазину. Тот раздраженно отказывался, цедя слова сквозь зубы, и желваки бегали по скулам. Выйдя из себя, он попросил их из машины. Недовольные грузчики полезли вон.

Витек подъехал почти следом и сразу подогнал машину задом к высокому крыльцу.

Пианино взяли вчетвером. Пришлось потужиться, но на второй этаж подняли без особых осложнений. Чуть передохнули и одним махом втащили в квартиру и поставил на намеченное место в зале у окна. Сразу же к Николаю подошел старший, с бельмом на глазу, и дернул за рукав:

– Все, хозяин, давай рассчитаемся.

– Сколько? – прикинулся дурачком Николай в надежде завести новую торговлю и скостить ту пятерку, которую дал за проезд в частной «Волге».

– Как договорились. По десятке на рыло.

Николай отсчитал восемнадцать рублей и сунул бельмастому грузчику, но тот знал свое дело туго. Он пересчитал деньги и потребовал недостающие два рубля.

– А такси? – сказал Николай. – Про такси забыли? Я пятерку дал. Уж я и так по-божески, всего два рубля вычел.

– А это хоть бы ты десятку отдал, – уперся мужик, бесовски водя своим бельмом. – На бую я твое такси видал.

– Тихо, не ругайся, – заморгал глазом Николай, показывая на бабку, топтавшуюся тут же, и свою девку, уже пробующую клавиши одним пальцем, и быстро сунул недостающие два рубля.

– Лады, – примирительно сказал грузчик.

В дверях Николай остановил грузчиков и спросил бельмастого, скрывая неловкость за смешком:

– Это ты чего ж меня капитаном-то прозвал? Похож, что ль?

– Ты капитан, я сержант, – уклончиво ответил грузчик.

– А вот он майор, — донеслось уже с площадки.

– Жуки! – поделился Николай с Валентином, и тот охотно поддакнул ему.

Алка, ехавшая автобусом, пришла злющая, когда дома был полный порядок: протерты полы, застелены половики, и бабуля возилась на кухне, готовя мужикам

закуску. Она, не глядя на Николая, прошла в зал, где Илонка одним пальцем долбила клавиши, видно осталась довольна, но сидевшее в ней зло требовало мести, и она громко спросила:

– Мамк! Этот не пил?

Мать, зная, что за Николаем такого греха, чтоб он пил без дела, не водится, а когда нужно выпить, меньше всего у них спрашивал, удивленно посмотрела на дочку.

– Господь с тобой! Что ты это? – защитила она Николая.

– Ох, и дождется она у меня! – врасяг пообещал Николай, но приподнятое настроение и хорошее расположение духа перевесили, и он тут же забыл про Алкины слова.

Отгнав Илонку от инструмента, он стал подбирать «чижика–пыжика». Алка пошла на кухню помогать матери.

Валентин скромно сидел на диване рядом с пианино и чутко прислушивался к звону тарелок, вилок и ножей.

Ждали Витька, он погнал машину в гараж и вот-вот должен был подойти. Закуска уже давно стояла на столе, а его все не было.

Валентин томился и украдкой поглядывал на часы, выбивая нервную дробь ногой.

– Где его черти носят? – не выдержала Алка. –

Картошка давно остыла. До вечера ждать что-ли? Может, он совсем не придет. Давайте-ка, садитесь за стол.

Только сели, зазвонил звонок, и Алка впустила ухмыляющегося Витька.

– Ты подольше б еще ходил! – встретила его Алка выговором.

Витек был в дорогом бостоновой костюме, в коричневых, под цвет костюма, босоножках, которые закрывались брюками, расклепанными книзу. Воротник синей тенниски был выпущен на пиджак.

– Да пока помылся. Потом к своему прокурору заскочил.

– Клавке что-ли? – уточнила Алка, хотя прекрасно знала, о ком идет речь.

– А то к кому ж? – засмеялся Витек.

– К нам позвал?

– Придет, выручку сдаст и придет.

– Видал, как люди ходят? – стрельнула Алка глазами в Николая. – А ты сидишь охломон охломоном.

– Цыц, – добродушно прикрикнул на нее Николай.
– Еще дома на себя костюм напяливать буду!

Он стал разливать водку. Мужикам налил в стакаы, жещинам, Алке с бабкой, в рюмки.

– Ну, давайте! – сказал он, подняв стакан.

– За попку! – откликнулся Витек.

Они с Николаем выпили дружно, в два глотка. Валентин же цедил свою водку маленькими глотками. На лице его было написано отвращение, и в глазах застыла обида, как у человека, уставшего бороться со злом. Весь вид его словно говорил: «Век бы ее, мерзость, в рот не брать. Но что делать?»

Бабуля приняла рюмку, как дар божий, и довольная, что не обошли вниманием, выпила и, сунув в рот кружок вареной колбасы, стала пятиться задом к двери, кланяясь с преувеличенной, а оттого фальшивой, и уже чуть хмельной благодарностью.

Алка долго нюхала водку, морщилась, то отставляя рюмку, то поднося ко рту, и когда уже все вволю науговаривались, залпом выпила.

Закуска была отменная. Уже пошли свежие помидоры, и на столе стояла большая миска с салатом из свежих помидоров и огурцов со сметаной. Молодая целая картошка горкой лежала в глубокой тарелке, и от нее шел пар, приятно раздражая обоняние и возбуждая аппетит. Была нарезана буженина и вареная колбаса, которых в свободной продаже не найти, и дефицитные вещи, вкус которых не всякий мог вспомнить: сервилат и осетрина.

Некоторое время все молча водили скулами. Слышалось только легкое почавкивание и стеклянный стук вилок о тарелки.

Когда стук вилок стал реже, Николай налил по

второй, потом по третьей. Вскоре от двух бутылок водки, стоявших на столе, осталось одно воспоминание. Валентин цедил водку мелкими глотками, и рука уже почти не дрожала. Алка хотя и ломалась, и кривила лицо над каждой рюмкой, пила исправно и от мужиков не отставала. Она раскраснелась и, выполняя роль гостеприимной хозяйки, радушно потчевала мужчин.

– Вы что-то ничего не кушаете! – обиженно заметила она Валентину, подкладывая ему в тарелку колбасу. – Глядите, как мой прохиндей уплетает.

Она засмеялась. «Прохиндей» с набитым ртом доказывал Витьку, что завгар, Глебов, «подлюга» и «сучий потрох».

– Спасибо! Я ем, ем, – чуть заплетаясь языком, поблагодарил Валентин и повел уже осоловевшими глазами в сторону Алки.

Сытые и ублаженные, Николай с Витьком закурили, а Алка стала собирать грязные тарелки, чтобы привести стол в порядок.

Валентин, воспользовавшись перерывом, пошел в зал и сел за пианино. Он взял, как в магазине, несколько аккордов, а потом стал играть. Сразу выпорхнула из кухни Алка и, довольная, закрутилась по комнате, то поправляя салфетку, то передвигая вазу на столе.

– «Листья желтые над городом кружатся, тихим

шорохом к нам под ноги ложатся, – запел Валентн. – Никуда от них не спрятаться, не скрыться».

– «Листья желтые, скажите, что вам снится?» – замурыкала Алка вслед за Валентином.

– «А я играю на гармошке», – вдруг раненым быком взревел Витек, и на шее у него запрыгали жилы. Валентин сбился, но быстро перестроился. Алка первая пронзительно взвизгнула вслед за Витьком частушечным голосом:

– К сожаленью, день рожденья только раз в году, й-их!

Пели азартно. Николай забегал вперед, забывая про музыку, которая была сама по себе, и Валентин никак не мог подладиться в тон песне.

– Давай позовем Генку с Веркой, Сырцовых! – сказал Николай Алке, когда допели песню до конца.

– Зови, – согласилась Алка. – Гулять так гулять!

– Поди-ка сюда! – поманил жену на кухню Николай.

– Водка-то осталась? – опросил он шепотом.

– Одна бутылка.

– Что одной делать? Надо сходить.

– Ну, и сходи!

– Дак уж восемь времени-то! Водку не дают.

– Подойди к Зойке, скажи, Алка просила.

Сырцевы ждать себя не заставили. Генка пошел как был, в синих тренировочных штанах, только на

майку надел белую рубашку, и ноги сунул в туфли с бульдожьими носами на платформе. Верка тоже было хотела идти в длинном атласном халате, но передумала и надела гофрированную юбку с водолазкой, а сверху накинула пончо. Туфли надевать не стала и оставила на ногах комнатные тапочки.

– А мы думаем, где это балдеж идет? Аж на пятом этаже слышно, – смеясь сказала Верка, когда Алка открыла двери на звонок. – По какому случаю?

– А что ж, гулять так гулять! – с бесшабашной удалью откликнулась Алка и потащила гостей в зал.

– Ну, вы даете! – покачала головой Верка, уставившись на темную полировку пианино и любуясь золотым орнаментом на лицевой стороне.

– Валя, сыграйте нам что-нибудь такое, повеселей! – попросила Алка, вежливо поджимая губы. Валентин послушно взял несколько аккордов – без этого он не начинал ни одной песни – и заиграл цыганочку.

Николай обернулся скоро. На лестничной площадке он догнал Клавдию, и они вошли в квартиру вместе.

Клавдия, едва вошла, сразу поманила Алку на кухню, где выложила из хозяйственной сумки палку копченной колбасы и коробку зефира.

– Убери, убери! – замахала руками Алкм. – У меня этого добра – пруд пруди, сама знаешь.

– Ничего, ничего! Съестся, вон компания какая! – заупорствовала Клавдия, но Алка сунула колбасу назад в сумку.

– Ну, хоть зефир возьми.

– Разве что зефир, – согласилась Алка.

В кухню заглянул Витек. Он подкрался сзади к Клавдии и ухватил ее за бока. Та взвизгнула поросенком и стала отбиваться от мужа, стараясь расцепить его руки и призывая Алку на помощь.

Витек отпустил ее

– Вот змей, паразит! Напугал, аж сердце закололо, – набросилась на мужа Клавдия и, со всей силы опустив крепкую ладонь ему на спину, засмеялась.

Снова сели за стол и снова выпили. Алка, поломавшись, а Клавдия отчаянно, словно бросаясь в омут, зажмурив глаза и разом под одобрительный гул мужчин. Верка, не допив, отставила свой стакан, но от нее не отставали, пока она не выпила до дна.

– Ну-ка, зло не оставляй! – серьезно сказала Клавдия, и Верке ничего не оставалось, как допить.

Закусывая, Верка водила глазами по Брянской полированной стенке, которая стояла как раз напротив. Полки, предназначенные для книг, были заставлены хрусталем. Хрусталя было много: ажурные вазы и вазочки, стаканы и бокалы, фужеры и рюмки – все горело, переливалось и играло алмазными бликами.

Наткнувшись на высокую, ограненную мелким кружевным рисунком, вазу, Верка подумала, что вот такую хорошо поставить на журнальный столик и, окликнув Алку через стол, спросила:

– На хрустале сейчас не Машка Щекотихина сидит?

– Да ну, ее на женский трикотаж перевели, – громко, стараясь перекрычать гомон за столом, сказала Алка.

– А кто ж теперь?

– Да Валька Гапонова, которая на мехах была.

Верка пожала плечами.

– Ну, такая, лицо оспинками, в белом парике все ходила, – напомнила Алка.

– Да знаешь ты ее. Я ее в парикмахерскую на маникюр приводила. А что?

– Да хочу себе присмотреть что-нибудь. Не сведешь?

– Ладно, сходим, – согласилась Алка.

Валентин все больше бледнел и к концу застолья с трудом водил головой, широко тараща непослушные глаза, а когда сел за пианино и стал играть, пальцы не слушались и попадали не на те клавиши. В конце концов Николай завел проигрыватель, а Валентина Генка отвел в ванную, где сунул его голову под кран с холодной водой. Валентин вырывался и что-то бессвязно бормотал, но Генка держал его крепко и отпустил только тогда, когда тот стал захлебываться. Потом он отвел его в зал и усадил в кресло, где тот и уснул.

Пугачева, усиленная двумя динамиками, из кожи

лезла вон, чтобы понравиться компании, которая надрывала голосовые связки, помогая ей. Но когда Алка хотела прокрутить пластинку по второму разу, Витек вдруг уперся и потребовал барыню. Поставили барыню, и он ожесточенно заколотил пяткой в пол, будто собирался проломить его и рассыпался дробным топотом обеих ног, пробуя прочность досок. Руки его при этом плетями висели вдоль неподвижного туловища, а лицо оставалось серьезным и непроницательным.

«Барыня, ты моя. Сударыня ты моя!»– хрипло выводил баян.

«Барыня, барыня, сударыня-барыня!» – исступленно выбивал ногами Витек.

Щемящая тоска по родным Липкам вытолкнула Клавдию к Витьку, и она, поставив руки в боки, забарабанила по полу каблуками и засемила вокруг него, плавно поводя руками. Грудь ее, туго затянутая в лифчик, упруго колыхалась в такт, вздрагивали полные щеки, а глаза возбужденно блестели. Заражаясь азартом Клавдии, Витек пошел вприсядку.

Снизу застучали по потолку.

– Это доцент, в институте преподает, – пояснил Николай.

– Мешаем. Чтоб не шумели, значит, – прислушиваясь, весело добавил он, и когда кончилась барыня, и Витек с Клавдией, тяжело дыша, повалились

на диван, Николай подпрыгнул козлом и назло доценту на месте люстры отгрохал чечетку.

Встал с кресла и, пошатываясь, молча пошел к выходу Валентин. Николай вывел его из подъезда и, убедившись, что тот до дома доберется, вернулся.

В одиннадцать разошлись все. Почти следом за Валентином стали собираться Витек с Клавдией. За ними, словно спохватившись, ушли Генка с женой. Илонка давно спала. Бабуля дремала возле внучки, ожидая, когда уйдут гости, чтобы собрать и помыть за ними посуду...

Через неделю от Валентина пришла музыкантша, молоденькая лань в джинсах, сабо на шпильках и легонькой блузочке, едва прикрывавшей живот, через которую просвечивался нейлоновый бюстгалтер с широко расставленными бретельками. Пришла она под вечер, когда Алка с Николаем были уже дома.

Музыкантша поздоровалась и очаровательно улыбнулась хозяевам, показывая острые жемчужные зубки.

– Меня зовут Людмила Юрьевна, – представилась она.

Окинув музыкантшу оценивающим взглядом, Алка повела ее в зал, где стояло пианино. Живая заинтересованность, блеснувшая в глазах Николая при виде музыкантши, не ускользнула от Алкиного внимания, и когда он пошел вслед за ними в зал, ткнула его локтем в бок и прошипела:

– Иди, иди! Тут без тебя разберутся.

Николай чуть не пустил в нее матом, но чудом сдержался и пошел в спальню читать газету.

– Прежде чем договориться, я хотела бы посмотреть вашего ребенка, – попросила Людмила Юрьевна.

Алка высунулась в окно и, меняя голос на пряничный, позвала:

– Илона, домой!.. Поскорее, что-то дам, – соврала она дочери, потому что та стала конючить еще полчаса на беготню.

Илонка по воробьиному встрепенулась и побежала домой.

– Ты петь умеешь? – располагающе улыбаясь, спросила Илонку Людмила Юрьевна, когда та, подталкиваемая матерью, вошла в зал.

Илонка, круглолицая, вся обрызганная мелкими веснушками второклассница, шмыгнула носом и вскинула при этом голову так, что две тощенькие рыжие косички прыгнули вниз и вернулись на свое место, т.е. остались торчать на затылке, и вопросительно посмотрела на мать.

– Поет, как же! – ответила за нее Алка. – Что же молчишь?

– Какие ты песни знаешь? -опять спросила Илонку Людмила Юрьевна.

– Про крокодила Гену и про улыбку, – скороговоркой ответила Илонка, поглядывая на мать.

– Ну-ка, спой, а я буду тебе аккомпанировать. Давай про улыбку. Людмила Юрьевна проиграла вступление и кивнула Илонке.

– Три-четыре!

Но Илоонка устала на носок сандалии, которой водила по полу, и молчала.

– Ну, что же ты? – с укором сказала Людмила Юрьевна, а Алка набросилась на дочь:

– Что стоишь как дурочка? Пела ж с девками. Вчера под пластинку, что есть силы орала, – пояснила она Людмиле Юрьевне. – А сейчас язык отсох.

– Давай вместе, – предложила Людмила Юрьевна Илонке. Она запела чистым лирическим сопрано. Илонка под сердитым взглядом матери зашевелила губами, шепотом выдавливая из себя слова.

– Ну ладно. Раз ты стесняешься петь песню, давай попоем нотки, – предложила Людмила Юрьевна.

– Ну тяни, а-а-а!

– А-а, – глухо, как сова, ухнула Илонка.

– Да нет, не так!.. До-о! До-о-о!

– До-о, – шмыгнув носом, тихо повторила девочка.

– Это, скорей, «си» малой октавы, – усмехнулась Людмила Юрьевна. – Ну-ка, похлопай со мной в ладошки.

Людмила Юрьевна похлопала четыре раза с одной длинной и тремя короткими паузами. Илонка повторяла, но не выделила длинную паузу.

– Послушай еще раз, повнимательней. – Людаила Юрьевна еще раз прохлопала, изящно расставляя ладошки с ухоженными наманикюренными ногтями.

Илонка нехотя повторила, и на этот раз пропустила один хлопок.

– Теперь отвернись и попробуй по слуху найти ту ноту, которая прозвучит, – кисло сказала Людмила Юрьевна.

Ноту Илонка не нашла. Она тыкала указательным пальцем вокруг и около, только не туда, куда нужно.

– Ты хочешь учиться играть на фортепиано? – спросила Людмила Юрьевна.

– Хочет, хочет! – поспешно ответила за нее Алка, и Илонка вслед за матерью тоже кивнула головой.

Людаила Юрьевна натянуто улыбнулась.

Уже уходя, в коридоре, она сказала, больше обращая к Алке, чем к Николаю, который стоял у дверей спальни и бесцеремонно щупал ее глазами:

– Валентин Степанович просил меня послушать вашу дочь, но насчет уроков у нас конкретного разговора не было. Я не знаю еще, какая у меня нагрузка будет в музыкальной школе. Но вы не беспокойтесь, если я не смогу заниматься с вашей дочерью, то он договорится с другим преподавателем.

Наткнувшись на взгляд Николая, она разозлилась:

«Хамло чертово, – раздраженно подумала она, – все с меня снял. Свою корову раздевал бы».

Она хотела уйти, но Алка остановила ее, спросив про дочку:

– Слух-то какой у нее есть?

– Слух развивать надо, – уклончиво ответила Людаила Юрьевна. – Надо заниматься.

– Цапля длинноногая! – фыркнула Алка, когда за музыкантшей закрылась дверь. – А этот дурак zenки пялит, аж слюна как у кобеля бешешого чуть с языка не закапала. Тьфу.

– А что, плохая девка? – широко раздвинул рот в ухмылке Николай, поддразнивая жену.

– А что хорошего – то?.. Ни хрена вы, мужики, в этом деле не смыслите. Разве это баба, если у нее и взятья не за что? А у этой первый номер.

– Да уж с тобой ей тягаться трудно, – засмеялся Николай.

– По крайней мере, «возьмешь в руки – маешь вещь».

Николай со смехом сгреб ее охапку и стал тискать, приговаривая:

– Щас проверим твою вещь! Какая она у тебя.

– Пусти, черт! Илонка вон смотрит, – с нарочитой серьезностью отбивалась довольная Алка.

Когда Николай отпустил ее, она сказала, как бы между прочим:

– Ты попроси Валентина, пусть он кого другого пришлет. Я смотрю, от этой вертушки толку не будет никакого. Она и на учительницу-то не похожа.

Николай усмехнулся, но спорить не стал.

Учитель, который ваялся заниматься с Илонкой, слух не проверял, а сразу приступил к занятиям. Прежде всего, он прочитал небольшую вводную лекцию, основой которой послужило введение к «Книге о музыке» составителей Головинского и Ройтерштейна, выученное им когда-то наизусть.

Звучало это пафосное извержение по меньшей мере странно, потому что было рассчитано на большую аудиторию, но это лектора ничуть не смущало. Старался он больше для Илонкиной матери, которая сидела тут же на диване и благоговейно замирала от соприкосновения с прекрасным, дорога к которому была ей заказана.

Костюм на маэстро был выношен, лицо жеванное, и сам он не производил впечатления человека, которого облагородила музыка и подарила радость от общения с ней. Однако взялся он за дело с интуизмом и, прощаясь после первого урока с хозяйкой, побуждаемый самыми лучшими намерениями, нарисовал радужную картину будущих музыкальных успехов своей ученицы, искренне веря в осуществление этой программы.

В этом году уже поздно, а на следующий они подготовятся в музыкальную школу. Поступать лучше в вечернюю, там вместо семи лет то же самое проходят за пять – нет хора и меньше сольфеджио. Только надо, конечно, заниматься и еще раз заниматься.

Через два занятия, когда его подопечная не смогла затвердить ноты скрипичного ключа, а четвертные не отличала от восьмых, оптимизма у него поубавилось. За месяц учебы Илонка с горем пополам тыкала третьим пальцем «тень-тень потетень, выше города плетень», постоянно спотыкаясь на «си бемоль».

Она стала бояться вторников и суббот и ждала уроков со страхом. Раз даже спряталась в шифоньер, откуда мать ее выволокла за шиворот, надавав тумачков, а учитель музыки Борис Иванович шел на те же уроки как на каторгу и уже подумывал, как бы поделикатней отказаться от этой чертовой обязанности. Он теперь ругал себя за то, что добровольно залез в петлю, заведомо зная, что девчонка «не лабух». Об этом его предупреждала Людмила.

Совсем плохо стало, когда начались занятия в школе. Илонка, просидев часа три над уроками, наотрез отказывалась подходить к пианино.

Однажды, когда Алка силой потащила ее к инструменту, Илонка укусила ее за руку. Алка отполосовала ее ремнем, и с той сделалась истерика. Успокоилась дочь не скоро, долго всхлипывала, сотрясаясь всем телом, и уснула одетая и зареванная. Алка, раздевая ее, плакала сама, и поздно вечером, когда Николай вернулся из рейса, помылся, поужинал и они легли спать, рассказала ему про сегодняшний

случай и вообще, что девка из-за этого пианино стала как чумная.

– Что будем делать-то?

– А ничего, – ответил Нколай. – Не моя это затея с пианином.

– Так что, сказать учителю, чтоб не ходил? Мол, так и так, не хочет, нет у нее к этому стремления.

– А чего девку мучить? Нас играть не обучали и ничего, не хуже других.

– Ну ладно, – с облегчением вздохнула Алка и будто свалила с себя непомерную тяжесть.

Орёл, 1985 г.

КАК БЫВАЛО «НА КАРТОШКЕ»

Городские девушки чуть не ползли по борозде. Спины занемели, но стоило разогнуться, в глазах темнело, и блохами прыгали черные точки. И к горлу рвотой подкатывало отвращение к картошке. Казалось, век бы ее не ел, только бы не собирать. А конец поля уходил куда-то к горизонту.

Валька Лазарева, вдруг повалилась на спину и напугала всех, взыв дурным голосом: «Ой, девки, не могу, помру сейчас!»

Девушки мгновенно побросали ведра и расселись вокруг Вальки.

– Тошнит, девки, видеть эту картошку не могу! – проговорила Валька.

– А что? – отозвалась Света Новикова. – Очень даже может быть такое. Я где-то читала про сибаритов. Они вели праздную жизнь. У них даже не водопроводы были, а винопроводы. Лежит, а в рот вино капает.

– Во, жизнь! – отозвался с лошади бригадир Семен Петрович, нюхом почуявший беспорядок и притрусивший с соседнего поля. Был он как всегда зачуханный и небритый.

– Так вот, говорят, один сибарит, – продолжала

Света, не обращая на него никакого внимания, – увидел, как работают в поле рабы, и тут же умер.

– Это как же? – не поверил бригадир.

– А так же! Сердце не выдержало.

– Лопнуло, значит! Это от вина, – убежденно сказал Семен Петрович и потрогал левый бок.

– Ну, у вас не лопнет, вы самогон пьете! – серьезно заметила Валька.

Девушки дружно засмеялись, а бригадир, хлопая глазами, переваривал Валькины слова. И вдруг понес в бога мать:

– Растопырились, туды растуды на три деревни. Привыкли в городе на задницах сидеть, мать вашу ...

– А ну, работать! – срываясь на визг, закончил свою речь Семен Петрович.

– Arbeiten. Все понятно, – перевела Валька. – Aufstehen, мать вашу!

Бригадир Семен Петрович ничего не понял, хотя чувствовал в этих словах что-то ругательное по отношению к нему, но так как зла больше не осталось, сказал нормальным голосом:

– Ладно, по иностранному-то умничать, образованные! Чтоб мне ряд сегодня весь добрали.

И, хлестнув лошадь прутом, ретировался.

На Семена Петровича не обижались ... Великая вещь привычка. Первое время на мат реагировали болезненно, жаловались чуть не со слезами своему

директору, директор говорил с председателем, председатель кричал на бригадира, а бригадир на председателя. И какое-то время бригадир бранных слов не произносил, но потом они прорывались с еще большей силой. Председатель разводил руками: «Ну что я могу сделать? Такой народ. Снять с бригадирства, так это всех подряд снимать придется ... Иной раз и сам сорвешься ...»

– Бывает, – смущенно кашлял в кулак председатель. Нету других людей ... Я с ним поговорю еще, припугну построже, а уж вы как-нибудь сами с ним, пристыдите что-ли.

Просили колхозного сторожа Игната при случае сказать бригадиру, чтобы не выражался. Думали, старого человека послушается.

Дедушка Игнат искренне удивился: «Кому, Семену? Да ему, сивому мерину, родить легче, чем от мата отвыкнуть. Сызмальства это у него. Без штанов еще ходил, а уже матерные слова знал.

После этого на Семена Петровича махнули рукой и старались не обращать внимания, но и ему, видно, на пользу пошел разговор с председателем. Материться совсем он не перестал, но заметно было, что сдерживается.

– Пошли, девчата, доделаем что-ли, – встала старшая группы Таня Савина.

– Дай отдохнуть – то! – взмолилась Света Новикова.

– Девоньки, засидимся, хуже. Быстрее поле кончим – быстрее домой уедем. Не до зимы же здесь торчать?

– Домой хочется, – жалобно сказал кто-то.

– Девочки, в субботу надо уехать во что бы то ни стало. Пошли.

Таня решительно пошла на борозду. За ней нехотя поднялись остальные.

– На соседнем поле работали школьники. Они как воробьи прыгали по грядкам, очень быстро набирали картошку в ведра и носили к тракторному прицепу. Ссыпать картошку помогал им молодой учитель. Ребячьи голоса летали в воздухе, и работать было вроде веселей.

«Ура» раздалось, когда стало смеркаться. Первой дошла до конца грядки Таня Савина. Те, кто шел следом, поднажали, потом дружно помогли отстающим и где-то минут через двадцать закончили всю работу.

Тракторист лихо развернул прицеп и затормозил, чуть не зацепив девушек. Те с визгом разбежались в стороны. Покричали на тракториста, посмеялись, но в прицеп не полезли: трактористы трезвыми в трактор не садились, гоняли напропалую, не разбирая дороги, и ездить с ними боялись. Как-то колхозный тракторист Васька Куликов свалился с трактором в овраг. Трактор перевернулся, а Васька каким-то чудом остался жив.

Проспался в том же овраге и пришел в правление. Потом сам проговорился, что ездил на тракторе в соседнюю деревню за самогоном.

В свой прошлый приезд девушки жили в клубе. И от клуба остался в душе неприятный осадок. Не потому, что клуб не отапливался и было холодно и сыро. И не потому, что спали вповалку на соломе. Хуже было нашествие «женихов».

Пришли они в первый же вечер, едва городские успели умыться и поужинать. Вокруг старших, как это водится, терлась мелюзга. Старшие были в шляпах, один даже в темных очках, несмотря на сумерки. Он, перегнувшись от тяжести на одну сторону, держал магнитофон, который голосом Аллы Пугачевой вещал: «Арлекино, Арлекино!» Выглядели «женихи», прямо сказать, не «комильфо». Сапоги замызганы, волосы нечесаны. Смешно было принимать их всерьез. Но когда они облепили окна и потребовали: «Девки, выходи на танцы!», стало не до смеха.

А тут еще Вальку Лазареву черти за язык дернули. Она подскочила к окну и крикнула:

– Сначала умойтесь, хухрики!

И тут же пожалела. «Женихи» начали ломиться в дверь, колотить палками по рамам. Мужчины вышли на крыльцо и попытались образумить ребят, но слова на тех не действовали. Деревенские видели, что их боятся, и еще больше наглели: улюлюкали, свистели, а малышня подстрекательски вертелась у ног.

В это время появился зам директора филиала. С ним был председатель месткома. Жили они на другом конце деревни и пришли посмотреть, как люди устроились. Разобравшись в обстановке, зам решительно пошел на деревенских. Выглядел он внушительно, и деревенские, почувствовав в нем начальника, отошли подальше и стали ждать, что будет дальше. Зам остановился и спокойно сказал:

– Я бегать за вами не стану. Но учтите, если кого-нибудь увижу здесь через двадцать минут, пеняйте на себя.

– А что ты сделаешь? – нахально спросил высокий парень с лохматой гривой волос.

– По крайней мере, с тобой поговорю в райотделе милиции, это я тебе обещаю. Физиономия твоя мне хорошо знакома: утром стоишь со своим ЗиЛом у правления. Фамилию мне узнать нетрудно... Вон того тракториста тоже найду, – пообещал зам.

Деревенские притихли. Было видно, что они трусили, но отступить сразу и этим признать поражение не могли. И когда городские ушли в клуб вместе с замом, они еще некоторое время петушились, выкрикивали матерные частушки, но к клубу не подходили. Потом все стихло, и все решили, что деревенские ушли.

– Тоже мне, мужики! – сказала Света Новикова. – С малолетками не справились. Если бы не Юрий Васильевич ...

Она не договорила. Звякнуло и разлетелось стекло, и в клуб влетел камень.

Мужчины, будто заглаживая свою вину, бросились на улицу. Раздался топот, свист, и на улице никого не осталось.

Когда Юрий Васильевич с председателем завкома ушли, и все улеглись спать, в разбитое окно просунулась физиономия в шляпе и сказала:

– Погоди, щас Васька трактор подгонит. Весь клуб к ядрене фене разворотит.

После этого девушки долго не могли уснуть. Черт их знает, дегенеративных, возьмут и в самом деле разворотят ...

На этот раз всех разместили по квартирам.

Валька Лазарева, Света Новикова, Таня Савина и Надя Щеглова попали к деду Савелию. Дед Савелий был уже в преклонном возрасте, жил один, но хозяйство при всем при этом не бросал. Держал он свинью, козу. Коза была одноглазой и, когда к ней подходили, она настороженно поворачивалась боком и выставляла правый рог. Еще дед Савелий держал штук тридцать всякой птицы: куры, гуси, индюки. На огороде у него росла одна картошка, да несколько деревьев яблонь, слив. В колхозе дед по слабости здоровья и в связи с преклонными годами не работал. Государство положило ему пенсию сорок пять рублей, и пенсией дед Савелий был доволен. А хозяйствовать

ему помогал старик Караваев, тоже бобыль. Но хотя Караваев был всего лет на пять моложе Савелия, он находился в полной мужской силе. Работал колхозным сторожем, ходил бить скот, вел свое хозяйство, да еще помогал по соседству Савелию. Дети Караваева жили в Донецке. Так уж повелось, что из деревни Успенка моложежь в основном путь держала в Донецк. Теперь уж никто не помнил, кто стал пионером в деле освоения Донецка. Но только давно повелось так: подрастает молодежь, входит в силу и, если не в Армию, то в Донецк, а после Армии завернет ненадолго в родную Успенку, и все равно – в Донецк.

– Почему в Донецк?

– А куда же еще? Там все наши.

Одна дочка деда Савелия тоже жила с мужем в Донецке. Муж был опять же из Успенки. Жена Савелия умерла, когда он еще не был дедом, а вслед за ней умерла младшая дочка. С тех пор дед так и жил бобылем.

А от Караваева жена ушла к детям. Хорошего она от него за всю жизнь не видела, а потому, когда внуки пошли, переехала в Донецк. Больше для приличия звали отца, зная, что не поедет.

Так и случилось. Караваев послал всех дальше Бога, а на жену рыкнул:

– Дура! Мало, видать, учил я тебя, если ничему не выучил... По нынешним временам, думаешь, дети тебя

кормить станут? Накося, выкуси! – ткнул ей Карavaев в нос кукиш. И добавил со звериным оскалом:

– Назад не приму! Знай!

А она и знала; сказал, точно – назад не примет. И почувствовала, что в чем-то он прав. У детей свои семьи. Но вспоминая свое житье с Карavaевым, крестилась и гнала страх перед будущей жизнью.

Большую пятистенную избу Карavaев под напором сынов уступил хромому Федьке Овсянникову, а сам перешел в его кособокую избёнку по соседству с дедом Савелием. При этом Карavaев взял хороший куш. Федька давно уже собирался ставить новую избу. Один сын женился, и в семье ждали прибавления. Деньги на постройку были. А тут подвернулась готовая пятистенка, и все сложилось лучшим образом. И дешевле и быстрее.

Деньги Карavaев получил разом, и кое-что детям выделил. Но дележ шел бурный, дело чуть не дошло до рукопашной с сыновьями.

Теперь, когда все стихло, осталась тоска и зло на жену и детей. Тоска таилась глубоко, и Карavaев легко глушил ее работой, зато зло выпирало острыми углами, и он жаловался на детей всем подряд, чаще Савелию. Старый Савелий слушал жалобы с удовольствием, они были близки ему, хотя сам он зла на дочку не держал.

Карavaев приходил к Савелию под вечер. Иногда

приносил бутылку водки, и они выпивали. При этом дед Савелий отсчитывал Караваеву ровно половину стоимости водки вплоть до копееки ...

Городских девок дед Савелий взял с охотой. Девки попались молодые и веселые, а работающие как деревенские: пол помоют и за водой сбегают, и печку растопят. Одна оставалась готовить на всех. Продукты выписывал колхоз: мясо, молоко. Картошку давал дед Савелий, а за все это ему писали трудодни. Готовили девки хорошо, деревенские так не умели. И его всегда приглашали к столу – грех было отказываться. Сам он ел только картошку с огурцом, щи, да пил молоко. Мясо ел вареное, из похлебки, а по-городскому, с подливкой не ел.

Когда постоялицы пришли с поля, дед Савелий сидел с Караваевым на лавке за столом. Перед ними стояла бутылка водки, а Надя Щеглова им прислуживала, и оба деда смотрели на нее влюбленными глазами.

Увидев квартирантов, дед Савелий засуетился и намеревался привстать, но Караваев придавил его к скамейке и с усмешкой сказаал:

– Не мельтеши. Чай, в своем доме, не в гостях.

И в сторону девушек добавил:

– Места всем хватит, вона лавка какая, во всю стенку.

Мылись девушки во дворе из ведра. В избу

доносился смех, плескалась вода, звякала о ведро кружка.

– Ох-хо-хо! – вздохнул дед Савелий. – Ничего не знают, молодые еще.

– Да где там! Известно, город. Опять же, маломощные. Наши-то бабы пожилистей будут, – поддержал Караваев.

Когда чистые и причесанные квартирантки сели за стол, Караваев, продолжая свою мысль, без обиняков спросил худенькую Таню Савину:

– Как же это ты, дочка, рожать будешь, экая тощая какая.

Таня покраснела и растерянно посмотрела на подруг.

– Как все рожают, так и она родит. Другого способа не придумали, – ответила языкастая Валька.

– Ишь, как все, – засомневался Караваев.

– Она двойню родит. Правда, Танечка? – засмеялась Света Новикова.

Девчонки развеселились. Посыпались шутки.

– Веселый народ, пошли вам Бог женихов хороших, – пожелал дед Савелий.

– Да хоть каких-нибудь бы послал, – живо откликнулась Валька. – У вас вот нет, разбежались все.

– Как нет? Ты клуб вспомни, – засмеялась Надя Щеглова.

– Что правда, то правда, – сказал Караваев.–

Молодежь вся в город норовит, не хочет на земле хозяйствовать.

– И то, одни мальцы сопливые остались, – поддержал дед Савелий.

– А туда же, не моги и слова поперек сказать, он тебе и комбайнер и тракторист. По нынешним временам – фигура.

– Фигура, да дура, – перебил Карavaев. – Водку жрать научились, а мужик кроме этого никакой. Прошлый раз Васька Коршунов просит: «Дядь Иван, дай трояк до завтра». А в гости зайдешь, у бабы рубль просит, чтобы бутылку купить. Мужик, ядри твою в корень!

– А вот гляди у меня! – Карavaев вытащил из бокового кармана пиджака пачку замусюленных десяток.

Видал? То-то! Приди ты, к примеру, ко мне – напою и накормлю.

– Так оно так, – поддакнул дед Савелий. – Дочка вот тоже с зятем. Не батьке помочь, а с батьки. А у меня уж ноги не ходят хозяйствовать... Сад пропадает. Картошку насилу выкопал, дай бог тебе здоровья, Иван, помог. А то: картошки дай, мясца дай, а приехать, вишь, занятые.

– Картошки, мясца! – передразнил Карavaев. – А тыщу не хошь? Мой Колька прикатил летом. Тыщу дай, очередь на кооператив подошла.

Он вдруг по-собачьи ощерился:

– Накось, выкуси! Десять не хочешь? Заработай, гад ты этакий!.. Так ты знаешь, что он сказал? Я, говорит, когда-нибудь придушу тебя, батя. Ты понял, нет? За тыщу, батьку родного!

Караваев разнервничался, руки дрожали и дергалось веко.

– Родителей не почитают, старых не признают. Куда – а! Слова не скажи поперек. Щас- в морду, а то ножиком норовит, – пожаловался дед Савелий.

– Во-во! Осатанели совсем. Я, говорит, дед, пашу, на мне колхоз держится, – передразнил кого-то Караваев.

– Это пока в Армию пойдет. А там, прощай колхоз, – заметил дед Савелий. – Так что, девоньки, женихов в городе ищите. Нашинские-то ненадежные теперь.

– Так ваши-то, которые ненадежные, у нас в городе все, – заметила Валька Лазарева, а Света добавила:

– Разбирайтесь теперь, какие ваши, какие наши. Одинаково водку пьют.

– За кого ж замуж выходить будете? – поинтересовался дед Савелий.

– Что ж, совсем трезвых что-ли не осталось? – вступилась за ребят Надя Щеглова.

– Верно, девоньки, хороших-то больше, Это

пьяницы нам только чаще примечаются, потому как, хороший – дело обыкновенное, а пьяница – вроде бельмо на глазу, – утешил девушек дед Савелий ...

Девушки поужинали, помыли посуду. Надя Щеглова подмела в избе, а Савелий и Караваев все еще сидели за столом, злобствовали непонятно на что и попутно ругали за нерадивость председателя: скотина, мол, в коровнике по колено в навозной жиже, а техника сплошь и рядом под открытым небом. Девушки легли спать и, засыпая, все еще слышали задиристый тенорок деда Савелия и недовольный рык Караваева.

Утра стояли уже холодные. Осень вступала в свои права. Над рекой плыл туман, стелился по земле, отчего казалось, что река затопила берега, и деревья тоже стоят в воде. Хозяйки варили обед, и над трубами вился дымок. Где-то залаяла собака, промычала ковова, звякнули ведра, перекликнулись женщины. Деревня проснулась. Наступали те благодатные предутренние часы, когда трудно заставить себя встать, так спать хочется, но именно в эти ранние часы проявивший мудрость получает заряд бодрости на весь день, наполняется восторгом и жаждой деятельного труда; и в эти часы человек, наверно, как никогда близко стоит у порога раскрытия тайны бытия и разрешения вечного вопроса смысла жизни.

Первой проснулась Таня Савина. Немного

полежала с открытыми глазами, посмотрела снизу на ходики, которые висели прямо над головой, и встала, сначала нехотя. Но когда вышла во двор, ее охватило чуть морозным холодком, и она окончательно проснулась. Взяла ведра с коромыслом и сходилa к колодцу за водой ... С коромыслом раньше она никогда не ходила, ей оно мешало больше, чем помогало, но она упорно ходила за водой с коромыслом. Ей нравилось. Когда она шла домой с полными ведрами, они раскачивались не в такт походке, вода плескалась, а Таню водило то в одну, то в другую сторону, но походка у нее после этого становилась тяжелой и устойчивой, как у деревенских девушек.

Таня умылась ледяной водой, и ей захотелось сделать что-нибудь отчаянное: пройтись колесом или крикнуть что-нибудь во все легкие. Она радостно рассмеялась и подумала про девчонок: «Спите, сони! Ну спите, спите!»

И когда поставила варить картошку, прошла в горницу, где спали девчонки, включила радио на всю громкость и стала стаскивать со всех одеяла. Девчонки ругались, пытались натянуть одеяла снова на себя. Валька Лазарева не выдержала и бросилась на Таню, пытаясь доймаТЬ, но маленькая, ловкая Таня без труда уворачивалась. Девчонки подбадривали Вальку криками.

Все уже теперь сидели на своих матрацах на полу.

Сна как не бывало. Девушки встали, быстро оделись, свернули матрацы и пошли во двор умываться.

Когда девушки позавтракали и подошли к правлению, настроение было приподнятое. И оттого что день был такой хороший, и оттого что сегодня заканчивали уборку картошки на своем поле и вечером или завтра утром могли уехать домой,

У правления уже собралось много народу. Девушки подошли к своим, филиаловским. Те встретили их без энтузиазма, и они насторожились.

– Чтой-то вы как пришибленные стоите? – спросила Света Новикова.

– Сейчас и вы пришибленными станете, – пообещала Вера Ивановна из бюро стандартизации и, посмотрев на улыбающуюся Таню Савину, добавила:

– А то вы очень что-то веселые.

– Да что случилось – то? – не выдержала Таня.

– А то, что Юра приехал. Председатель звонил вчера в город нашему директору насчет того, чтобы нас еще на наделю оставить.

– Да ты что?

– Я ничего, а вот как Юра ...

В это время вышел Юрий Васильевич и пригласил всех в правление. Кабинет председателя всех не вместил, и многие остались в коридоре, но через открытые двери хорошо было слышно, что говорилось в кабинете.

Говорил сначала председатель. Он ознакомил всех со сводкой погоды на ближайшую неделю. Сводка была неутешительной. Бюро прогноза предсказывало заморозки и снег. Когда председатель говорил о погоде, лицо его выражало обиду, как будто метеорологическое бюро наслало заморозки на его колхоз специально. Потом председатель стал жаловаться на условия. Людей не хватает, механизмов тоже нехватка, картофелекопалки быстро выходят из строя и почти не работают. Если не убрать всю картошку до заморозков, пропадет.

Стал объяснять истину о том, что город, в общем-то, ест колхозную картошку, так что, считай, что городские для себя же и стараются, а известно: «Как потопаешь, так и полопаешь». И долго еще ходил вокруг до около вопроса, ради которого и собрали всех, а напрямую сказать, чтобы остались еще дня на два, на три и помогли выбрать оставшуюся картошку на соседних полях, не хватало духу. Понимал, что всем до смерти надоел колхоз и картошка. И все видели, что он понимает, а поэтому сочувствовали и особенно не «выступали».

Юрий Васильевич поймал момент, когда председатель, более-менее приблизился к конкретному вопросу о помощи, и перебил его:

– Короче говоря, надо помочь закончить уборку картофеля. С руководством нашего предприятия этот вопрос уже согласован.

Этого ждали, к этому были готовы, но все же заволновались. Раздались недовольные голоса.

– Я понимаю – все устали, – повысил голос Юрий Васильевич. – Но давайте подойдем к вопросу с государственной позиции. Степан Никитович достаточно хорошо изложил нам положение дел. Идут заморозки. Самим с уборкой не справится. Убрать картошку нужно? Нужно. Предлагаю всех семейных женщин отпустить. Всем мужчинам и незамужним девушкам остаться и за субботу и воскресенье убрать всю картошку. В понедельник домой. За субботу и воскресенье – отгулы.

– А если за субботу и воскресенье не уберем? – задал кто-то вопрос.

– Надо постараться. Сегодня вас отвезут на новое поле, а ваши участки закончат школьники. Есть еще вопросы?

Вопросы были. Но уже не по поводу работы. Спрашивали, почему не дают молока, просили на поле привозить питьевую воду и так далее. Основной же вопрос, вопрос с уборкой, был решен.

Таня Савина видела, что девочки повесили носы. Надя Щеглова вот-вот заплачет. Ей хотелось поднять настроение подруг, и она бодро сказала:

Ну чего скисли? Первый раз что ли? Переживем, девки! Подумаешь, два дня, да еще за отгулы.

– Да-а, два, – всхлипнула Надя. – А потом еще на неделю оставят.

– Никто не оставит, – успокоила Валька Лазарева.
– В понедельник дома будем.

К правлению подкатил пыльный «козел» и, резко тормазнув, напугал девушек. Из машин вышел второй секретарь райкома. Навстречу ему уже спешил председатель колхоза Степан Никитович.

– Ну, и дорога же у вас! – недовольно сказал секретарь, протягивая руку Степану Никитовичу.

– Не у «вас», Николай Сергеевич, а у «нас», – усмехнулся председатель, пожимая протянутую руку.

Оба исчезли в правлении.

Девушки пошли к машине, которая уже ждала их, чтобы отвезти на поле, и полезли в кузов. Шофер, молодой парень с соломенными волосами и коричневым задубелым от солнца и ветра лицом, осветил девушек белозубой улыбкой, весело спросил:

– Ну, невесты, прехали?

– Поехали, жених, – разногласно отозвались девушки, и на голову парня посыпались шутки. И когда машина тронулась, затагнули:

«С песней весело шагать по просторам ...»

Орёл, 1981 г.

КОНФЛИКТ

Лекцию неожиданно отменили, и к.э.н. Сергей Дмитриевич Ковалев, читавший два раза в неделю курс политэкономии студентам вечернего строительного института, позвонил домой, чтобы без него ужинать не садились.

А через час Ковалев, облаченный в темносиний тренировочный костюм, уже выходил к столу.

– Ну, чем нас сегодня попотчует хозяйка? – бодро произнес он, потирая руки.

– Мама торт пекла, – немедленно сообщила пятилетняя Настенька.

– Кому что, – засмеялась Татьяна Петровна.

– Когда это ты успела? – удивился Сергей Дмитриевич.

– Мы сегодня окна в новом Дворце спорта мыли. Все сделали и - домой, – пояснила Татьяна Петровна.

– Что-то вас часто стали гонять на подсобные работы, – усмехнулся Сергей Дмитриевич. – То дворы метете, то какие-то ямы роете. Видно, такие специалисты, что без вас в вашем НИИ обойтись можно.

– А тебе плохо? – весело сказала Татьяна Петровна. – Посмотри, какой борщ! А голубцы? Да

еще для тебя специально расстаралась: мяса с луком нажарила. А к мясу картошечка спылу, целая.

– Сразила! Наповал! Да здравствует нерадивое начальство! – воскликнул Сергей Дмитриевич. – Вот уж действительно Лукумов пир.

Ковалевы ужинали плотно, с первым. Собственно, это был даже не ужин, а обед, потому что Татьяна Петровна обходилась на работе чаем с бутербродами, а Сергей Дмитриевич днем перекусывал в буфете у себя в институте и горячего обеда тоже не ел. О сыне и говорить нечего. Прибежит из школы, похватает всухомятку, что попадет под руку, даже не разогреет, и скорее за уроки. Конечно: три раза в неделю бассейн, да еще гимнастика. Разбрасывается парень.

Сергей Дмитриевич посмотрел на сына-восьмиклассника. Юрка сидел за столом, нахохлившись, словно воробей.

– Как успехи? – спросил сына Сергей Дмитриевич, принимая тарелку с борщом из рук жены

– Нормально! – буркнул Юрка.

– А чего такой кислый?

– Ничего.

– Ну-ну! Не хочешь говорить, не надо. Ну-ка, Танюш, положи голубчик. И картошечки.

– А ты что будешь, мясо или голубцы? – спросила Татьяна Петровна Юрку, когда он справился с борщом.

– Я мясо есть не буду, – сказал Юрка.

– Это почему? – удивилась Татьяна Петровна.

– Не буду! – упрямо повторил Юрка.

Отец строго посмотрел на сына:

Что за фокусы? В чем дело?

– Ворованное мясо больше есть не буду.

– Думай, что говоришь! – вспыхнул отец. – Что значит ворованное?

– Сам знаешь.

– Не знаю. Может быть, объяснишь? Ишь, шустряк какой! Ворованное.

Возмущение Сергея Дмитриевича было так велико, что он покрылся красными пятнами. Юрка исподлобья посмотрел на отца.

– А чего объяснять? Мамке носит мясо тетя Маруся из третьего подъезда. А тетя Маруся работает в столовой в дурдоме на Михайловской выгонке. Ворует в столовой мясо и продает. А психи голодные сидят. Конечно, они не понимают, что их дурят. Им хлеба дадут, они и рады. А я, здоровый, за них мясо ем. Скажи, это правильно?

Сергей Дмитриевич посмотрел на Татьяну Петровну и нахмурился.

– А почему это ты думаешь, что она обязательно должна... таскать мясо из столовой? – нерешительно оказал Сергей Дмитриевич. – Почему ты не допускаешь, что она как работник больницы может это мясо купить?

Юрка насмешливо хмыкнул:

– Ага, думаешь, я вроде этих психов, ничего не понимаю.

– Да что ты с ним разговариваешь? – не выдержала Татьяна Петровна. – Еще этот будет нервы трепать. Мясо ему не нравится. Я за него деньги плачу ... Да в конце-то концов, для себя я что ли стараюсь? Вы же дня без мяса не проживете. Это мы с Настей можем манной кашей обойтись.

– А ты почему голубец не ешь? – раздраженно спросила Татьяна Петровна Настю, которая с любопытством следила за происходящим.

– Я мясо есть не буду. Юрка не ест, и я не буду.

– Ты еще, козявка, обезьянничаешь! – вышла из себя Татьяна Петровна. – А ну-ка, ешь сейчас же. Только попробуй не съешь!

Настя надулась и стала ковырять вилкой голубец.

– Вот видишь? Это твои фокусы, – повернулась Татьяна Петровна к сыну. Недельку бы тебе жрать не давать, да посмотреть, как ты тогда заговорил бы.

– Погоди, погоди, мать? – вмешался Сергей Дмитриевич. – Надо разобраться. – Так ты что, считаешь, что мы с матерью в чем-то виноваты? – спросил отец.

Юрка не ответил, только еще усерднее стал мять в пальцах хлебный мякиш.

– Ну хорошо, давай ешь, мы с мамой разберемся, –

оценив ситуацию, решил закончить разговор Сергей Дмитриевич.

– Мясо есть не буду, – повторил Юрка.

– Вон из-за стола! – взорвалась Татьяна Петровна. – Я тебя накормлю. На одну картошку посажу. Просить будешь, ни куска мяса не получишь.

Юрка вылез из-за стола и пошел в свою комнату. Следом за ним, торопливо допив компот, упорхнула Настя.

– Вот негодяй! Надо же, до чего додумался! – сказала Татьяна Петровна, когда они с мужем остались на кухне вдвоем.

– Но мясо-то действительно, того, таскают, – заметил Сергей Дмитриевич, расправляясь с голубцом и подкладывая в тарелку картошку.

– Не знаю, не интересовалась. Я знаю только, что вам жрать нужно готовить.

Татьяна Петровна ожесточенно водила посудной тряпкой по тарелкам. Она стояла у мойки спиной к Сергею Дмитриевичу, и лица ее он не видел, но по напряженной спине почти физически чувствовал то крайнее раздражение, в котором находилась Татьяна Петровна.

– Не принимай близко к сердцу, – попытался успокоить жену Сергей Дмитриевич.

– Ничего, есть захочет, поест! – отозвалась она...

В этот день к инциденту с мясом больше не

возвращались. Однако на следующий день история повторилась. Татьяна Петровна из оставшегося мяса приготовила тефтели с рисом и разогрела к ужину вчерашние голубцы. Юрка съел суп, съел макароны, а тефтели оставил нетронутыми.

– Опять фокусы? – вскипела татьяна Петровна. – Та-ак, хорошо, – зловеще произнесла она, схватила тарелку и в сердцах вывалила в ведро для пищевых отходов.

– Нет тебе ничего!

И беспомощно всхлипнула. Юрка поспешно вышел из кухни. Сергей Дмитриевич, скорее по инерции жевал тефтели, потом бросил вилку и, отодвинув от себя тарелку, встал.

– Черт знает что! – раздраженно проговорил Сергей Дмитриевич. – Будь оно неладно это мясо.

– Что ж, прикажешь на базаре покупать? Так не накупишься. Пять рублей килограмм.

– Ну и что? – Сергей Дмитриевич исподлобья посмотрел на жену.

– А ничего! Настояшься, да возьмешь кости. А здесь одна мякоть. И котлет накрутишь, и пожаришь, и первое приготовишь.

– Ну, и это не выход. Мы сына воспитываем. И хорошо, что у него есть уже идеалы, за которые он готов бороться.

– Идеалы – это хорошо, – усмехнулась Татьяна

Петровна – Боюсь только, что он с ними в жизни горя нахлебается... Половина нашего дома мясо с мясокомбинат ест. А у тех, кто тащит это мясо, тоже, может быть, были идеалы.

– Таня, стыдись! – строго сказал Сергей Дмитриевич. – Что ж мы теперь на подлецов равняться будем?

И нервно забарабанил пальцами по столу. Потом встал и отошел к окну.

– Все то мясо, которое уплывает с мясокомбината, должно лежать на прилавках, – зло сказал Сергей Дмитриевич. – Нас обкрадывают и нам же продают... Все! Больше чтобы этого сорта мясом в доме не пахло.

Татьяна Петровна хорошо знала характер мужа и сочла за лучшее не возражать.

– Ну ладно, – чуть помолчав, сказала она с досадой. – Только, как ты расцениваешь тот факт, что мясник Федька Гришин с шестого этажа каждый день идет домой с набитым портфелем. А жена тайком продает мясо, которое он таскает, хорошим знакомым. От людей ничего не скроешь. Сама же не работает, а посмотри, сколько на ней золотых побрякушек навешано.

Сергей Дмитриевич резко повернулся, глаза его сузились, и горячо заговорил:

– Рано или поздно все становится на свои места. Будь уверена, и Федьку Гришина тоже за руку

схватят... Нет уж, милая, хорошо, когда совесть чиста. Я сплю спокойно, а твоему Федьке по ночам кошмары снятся.

Золожив руки за спину, Сергей Дмитриевич заходил по кухне, как привык это делать на лекции, когда ему приходилось отвечать на вопросы студентов. Внезапно он остановился и, усмехнувшись, сказал:

– Однако, Юрка каков, а? Пойду все же поговорю с парнем.

Юрка сидел за письменным столом, уткнувшись в книгу. Настя тихо возилась с куклами. Она усадила их в ряд на свой диванчик и кормила воображаемой кашей. Сергей Дмитриевич взял стул и сел рядом с сыном. Юрка продолжал читать. Некоторое время отец молча любовался сыном. Волосы чуть длиннее, чем им следовало было быть, но причесаны, и стрижка аккуратная. Глаза голубые, материны. Лицо тонкое, чистое, чуть бледновато, но это потому, что зима. Губы по-детски пухлые, но брови упрямо сведены над переносицей. «Характер мой», – отметил Сергей Дмитриевич и мягко спросил:

– Бунтуешь один или с Петькой?

Юрка снова покосился на отца и, не заметив иронии, буркнул:

– С Петькой.

– Ну, и как же вы с ним додумались до этого?

– Очень просто.

Юрка все еще ершился, но уже чувствовал в отце союзника и, когда полностью убедился в его доброжелательности, возбужденно заговорил:

– Пап, скажи, это хорошо хвастаться тем, что у тебя все есть, а у других нет?

– Отвратительно, – убежденно сказал Сергей Дмитриевич. – И у кого же это все есть, а у кого нет?

– Ну, это я так, к примеру. Мы вчера поссорились с Аликом Ферттом.

Что еще за ферт.

– Алик Панков стал с некоторых пор говорить девчонкам, что его зовут Альберт. Допросился, а теперь его вся школа зовет Алик-ферт или просто Ферт. У Панкова мать работает буфетчицей, и он почти каждый день носит в школу то дорогие конфеты, то шоколад и жрет на уроках.

– Выраженьица у тебя! – недовольно заметал Сергей Дмитриевич.

– Ну, ест. Не вижу большой разницы. Девчонки его за это терпеть не могут. Особенно, когда он царственным жестом угощает.

– Угощенья-то как, принимают?

– Наши – нет, а девчонки из других классов аж тают от удовольствия.

– В общем, вам захотелось конфет, и вы на Алика в обиде, – засмеялся Сергей Дмитриевич.

– Пап, при чем тут конфеты? – обиделся Юрка. – Если ты так...

– Шучу, шучу, – спрятал улыбку Сергей Дмитриевич.

– Он вообще все время хвастается, – недовольно продолжал Юрка.

– Отец Лены Волобуевой был в Москве в командировке, привез сервелат. Лена вчера угостила девочек, а Алик сказал: «Подумаешь, сервелат, у нас дома черная икра не переводится»... Лучше бы молчал. Если мать в буфете работает, то можно этим пользоваться? А у Генки мать рабочая, на заводе работает. Так Генка копченую колбасу по праздникам не ест, а про икру и говорить нечего... Гад Алик.

Ну, совсем твой Генка голодный сидит, ноги не таскает, – сыронизировал Сергей Дмитриевич.

– При чем здесь голодный, не голодный? Зачем выставлять напоказ свою жирную жизнь? Сыр в масле нашелся... Джинсы за сто двадцать рублей, шапка пыжиковая.

-Ну, и вы тогда решили ...

– Ну, мы тогда с Петькой и Лешкой поговорили с ним под лестницей.

– Били? – насторожился Сергей Дмитриевич.

– Нужно очень руки марать, – усмехнулся Юрка. – Поговорили. Сказали все, что о нем думаем.

– Так с чего же ты решил дома бунтовать? – спросил Сергей Дмитриевич.

– Да потому, что Алик сказал, что не видит

разницы между своей матерью и Петькиным отцом. В том учреждении, где работает Петькин отец, работников каждую неделю отоваривают дефицитными продуктами. Значит, Петькиному отцу можно, а ей нельзя? Зато она покупает продукты в государственном предприятии, а Лешкина мать покупает ворованную колбасу и мясо у жуликов с мясокомбината.

– Ах так! – протянул Сергей Дмитриевич. – Вопрос ясен. Ну, а кто тебя сказал, что наше мясо... ворованное?

– Потому что мать Алки Новиковой мясо тоже у тети Маруси покупает. А Алка слышала, как её мать разговаривала со своей сестрой.

– Так что, Алка Новикова тоже с вами заодно?

– Скажешь тоже. Зачем нам с девчонками связываться?

– Ну, хорошо, это понятно. А Петька чего ради бунтует? Я знаю Василия Михайловича как порядочного человека и не верю, что он может позволить себе какой-то нечестный поступок. Так что, здесь вы перемудрили.

– Ничего не перемудрили, – нахмурился Юрка. – Алик – подлый человек, и если мы объявляем ему бойкот, то сами должны быть честными.

– Так у вас дело и до бойкота дошло?

– Мы хотим проучить Алика. Для его же пользы.

– Ну, если для пользы, – развел руками Сергей Дмитриевич и разрешил: – Ладно, воюйте. Не буду отвлекать, учи.

В дверях он остановился:

– Мы с мамой посоветовались. Больше покупать мясо у тети Маруси она не будет. Только не воображай, что ты вывел нас на чистую воду. Просто ни я, ни мама не ставили вопроса так, как поставил ты, и нам в голову не могло прийти, что мы делаем что-то нехорошее.

У Юрки уши вдруг вспыхнули красными фонариками, и он уткнулся в книгу, чтобы не было видно лица, заливающегося краской. Он был горд от сознания собственной значимости, и ему было приятно, что с ним считаются, но в то же время неловко от того, что он вступил в конфликт с родителями; да дело даже скорее было не в конфликте, а в том, что этот конфликт вдруг разрешился в его пользу.

Юрка подумал о Лешке Себеляеве, представил скандал, который разыграется у него дома, и поежился. Батя у Лешки был человек крутой и скорый на расправу, так что вполне может и отодрать. Но Юрка быстро успокоился.

«Ничего, – решил он. – За правое дело всегда страдали».

Орёл, 1980 г.

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Кольку Шустикова радикулит подловил, когда он копался в огороде. Нагнулся, чтобы выдрать сорняк и не смог встать. Свет в глазах померк и поплыл разноцветной радугой. Колька охнул, закусил губу и, придерживая бок рукой, на карачках пошел в дом.

Батя, Кондрат Иванович, всю жизнь маявшийся радикулитными приступами, весело сказал:

– Ну что? Нашего полку прибыло?

Иди ты, батя, в баню! – чуть не плача, ответил Колька.

А мать, Полина Степановна, бойкая старушка, аж взвилась.

– Чему скалишься – то, бесстыжий, – налетела она на мужа. – Рад, дурак, ажник зенки замаслились. Ирод корявый. Сам согнулся, так хоть к ребенку сочувствие поимей.

Ребенок, тридцатидвухлетний бугай Колька Шустиков, лежал на боку и ошалело водил по сторонам глазами. Он никогда еще не чувствовал себя таким несчастным и беспомощным как сейчас, и ему было жалко себя.

– Это я в шутку, – не стал связываться с женой Кондрат. Щас в момент вылечу. Пуще прежнего прыгать начнет. Ставь утюг, Полина.

Полина Степановна пошла во двор разводить утюг. Утюг был у них еще довоенный, чугунный, работавший на углях. Конечно, был у них и электрический, но он такого жара как чугунный не давал. Поэтому Полина Степановна любила пользоваться чугунным, а Кондрат Иванович только этим утюгом и спасался.

Растопив утюг так, что искры фейерверком разлетались из отдушин, она заставила Кольку лечь на живот. Он подчинился и с крехтом, как дед, с трудом влез на кровать и лег спиной кверху. Мать накрыла его байковым одеялом и стала водить утюгом по пояснице. Колька постанывал и время от времени, когда утюг начинал печь, орал благим матом. А наготове уже стоял отец с початой бутылкой денатурата в руках.

Денатурат доставали по большому благу – в керосиновой лавке работал свояк – и брали баш на баш – бутылку денатурата на бутылку водки.

Как только Полина Степановна кончила свою процедуру, приступил Кондрат Иванович. Он добросовестно стал растирать Кольку, предельно экономно пользуясь драгоценной жидкостью, едва смачивая ей пальцы. Колька только кричал под напором бабкиных рук. Закончив, Кондрат Иванович, напустив строгость на голос, чтобы не допустить возращения, приказал жене:

– Принеси-ка стаканы!

И таким же безоговорочным тоном пояснил:

– После растирки для верности действия полагается во внутрь принять.

Полина Степановна не верила этой брехне сроду, но не стала спорить, только огрызнулась:

– Сам возьмишь, руки не отсохнут.

Колька, который лежал теперь укрытый одеялом, выпил полстакана залпом, чтобы меньше чувствовался запах, но в нос так шибануло керосином, что глаза чуть не вылезли из орбит. Отец сунул ему в руку холодную варенную картошку, и Колька стал жадно жевать, изгоняя керосиновую отрыжку.

Батя же, Кондрат Иванович, тянул свою порцию с таким удовольствием, будто лучшего сроду не пил. Когда Полина Степановна хотела спрятать бутылку с оставшейся жидкостью, Кондрат шикнул на нее:

– Не тронь. Я, может, еще растирать буду. Потому, с одного раза не поможет.

Глаза его уже блестели, и он подмигивал Кольке то одним, то другим глазом.

После повторной растирки бутылка была пуста. Кольке окончательно полегчало, и он, оживленно жестикулируя, спорил с отцом о смысле жизни, утверждая, что в жизни много всякой бессмыслицы, а смысла никакого нет. Радикулит, например, самая что ни на есть бессмысленная бессмыслица: пошел в огород прямой, а пришел согнутый. «И лежу как

дурак, здоровый не здоровый и больным не назовешь, потому что денатураата с тобой бутылку целую выпил».

– Ну, это для пользы. Вроде лечебного лекарства, – успокоил Кондрат Иванович.

А вот, батя, вторая бессмыслица. Сам себе сейчас врешь, и сам не веришь.

Я смотрю, брехать ты ловко научился, – обиделся Кондрат Иванович. – Для тебя же старался.

Опять врешь, – не мог остановиться и гнул дальше Колька. – Рад был, что повод нашелся.

– Тьфу, – сплюнул Кондрат Иванович, вставая с кровати и направляясь вон из комнаты.

– Огради от дурака, господи! – проговорил он, набожно завода глаза, хотя в Бога никогда не верил.

Колька вдруг начал хохотать, У отца был такой пришибленный вид, что не было никаких сил удержаться. Смеяться было неудобно. При каждом колыхании тела боль отдавала в поясницу и, когда он неловко повернулся и в боку резко кольнуло, сразу оборвал смех.

На следующий день Кольке стало хуже. Он с трудом встал и попытался пройтись по комнате. Но каждый шаг отдавался в пояснице острой болью, и Колька, сразу покрывшись испариной, поспешил сесть на стул. Он не мог даже сесть на диван - по той причине, что диван прогинался, и от мышечных усилий у Кольки опять простреливало поясницу.

Чуть отлегло, когда мать разогрела песок на сковороде, ссыпала его в мешочек и положила на поясицу.

За три дня перепробовали все средства, испытанные не раз на батьке: грели соль, терли скипидаром, ставили горчишники, даже разжились пчелиного яда. И никакого действия. Батьке что-нибудь да поможет. А здесь нет. Вроде стало получше, дух перевести можно, а ходить по-прежнему невозможно.

Может, в больницу? – с тусклой надеждой спросил Колька мать, но соседка, энциклопедически подкованная тетка Дуся, авторитетно и категорически отвергла эту мысль.

Сдурел? – сказала она. – Залечут, вообще ходить не будешь. Сейчас врачи-то, сами ничего не знают. Как что, так резать. Нет уж, милоч, мы своими средствами. Всю жизнь лечились, и никто не помирал.

Вечером сделали керосиновый компресс. И когда это тоже не помогло, тетка Дуся привела бабку Кусониху.

Кусониха заставила Кольку раздеться и проделала с ним все манипуляции, когда-то тонко подмеченные у докторов. Она заставила его показать язык, посмотрела глаза, оттянув вниз веки, а потом, уложив его на диван, навалилась всей тушей, щупая поясицу, и он заревел смертельно раневым быком.

– Радикулит обнакновенный! – поставила Кусониха диагноз, давно ни у кого не вызывавший сомнения, но это прозвучало так авторитетно, как какое-нибудь «Супсепсис аллергический Вислера-Франкони».

– Керосинный конпресс ставили? – спросила бабка, щеголяя вольной интерпретацией русского языка.

– Ставили! – хором ответила тетка Дуся с Колькиной матерью.

– Тады последнее средство, – могильным голосом ухнула Кусониха и скосила один глаз туда, где должна быть икона, но где ничего не было. Мать испуганно прикрыла рот рукой-горсточкой, а Колька насторожился.

– Надо навоз пробовать. Как рукой снимать.

– Говном мазаться не буду, – категорически заявил Колька.

– Так ить что мазаться! Хорошо, когда полностью в его, – поправила Кусониха.

– Ну, это ты сама ныряй! – разозлился Колька.

– Мне не надо. Я отродясь ентной заразой не болела. Семьдесят пять лет прожила, а Господь сохранил ... избави Бог.

Она перекрестилась на правый угол.

– А ты меня слушай. Раз говорю, знаю, что говорю... Что ж, говно-то? От скотинки оно, чистое.

Скотинка-то всякую дрянь не ест. Овес да травку.

Колька молча сопел, внутренне протестуя против такого курса лечения.

Тогда за него взялась мать с теткой Дусей. Они так мощно пошли на него, что он дрогнул. Мать, чувствуя, что Колька вот-вот сдастся, ударилась в слезы:

– Хочешь как батька твой кривым ходить? Любуйся мать!

И вдруг завыла, запричитала по Кольке как по покойнику.

Колька все молча сопел, но было видно, что он усиленно с собой борется. На помощь матери пришел батя, положив конец мучительной борьбе сына.

– Вместе сидеть будем, – сказал решительно Кондрат Иванович. – Мне тоже надо. Грызет и грызет.

– И то, – обрадовалась мать. – Вместе и сидите.

Знаешь, где навоз-то лежит? – спросила Кусониха.

– А как же ш? – удивился Кондрат Иванович. – За конюшней и лежит. Сколько раз сам возил!

– Ну, дак вот. Глыбоко не зарывайтесь. И сидите, пока терпеть силы станет. А после дома смоете. И так десять ден.

– Там речка внизу. Можно помыться, – вставил Колька.

– Что ты, что ты? Господь с тобой! – испугалась Кусониха. – Дома обмоетесь. А то – к прародителям.

Уходя, бабка Кусониха заметила Полине

Степановне:

– Ежели, Бог даст, поправится, помни Полина!..

Когда на Вязки опустились сумерки, и все крутом угомонилось, только со стороны клуба лились тихие звуки баяна, раздавался смех, да взвивалась высоко частушка, две фигуры в трусах крались огородами в сторону конюшни. Их, синюшные, денатуратные в лунном свете тела, играли бликами среди листвы деревьев, среди которых они старались держаться. За ними зловеще крались их тени. Это Колька с батькой шли на процедуры.

У конюшни их встретил семидесятилетний сторож Кузьма Веревкин, которого испокон веков звали Кузьмой. Кузьма был не только в курсе дела, но и материально заинтересован через поллитру белой, которую отнесла ему Колькина мать, Полина Степановна. Дала, чтобы не было разговору, а так, кто запретит в навозе сидеть.

Кузьма, отрабатывая поллитру, услужливо показал, где свежий навоз, и бережно поддерживал их, когда они стали восходить на свою Голгофу.

Разворошенный навоз шибанул в нос дурным запахом, но когда они погрузились в него, почувствовали, как приятное тепло обволокло продрогшие тела, и запах стал терять свою первоначальную силу.

Над Вязками царила благодать. Все вокруг было

пронизано голубым лунным светом. Все было сочно и контрастно как в советских мультфильмах. Темные купы деревьев причудливыми аппликациями лежали на серебристой глади реки. Заливались трелями счастливые тритоны и захлебывались от любви лягушки.

И над этим вечным покоем из навоза торчали две многострадальные головы. Если бы Колька стоял на пригорке у конюшни просто так, без дела, он бы любовался красотой и совершенством мироздания, и у него, может быть, родились бы такие же мысли как у Куинджи, когда он смотрел на ночной Днепр.

Но Кольке было не до этого. Тело жгло, едкий запах раздражал слизистую оболочку, глаза застилала слезы, и он ничего перед собой не видел, кроме головы батьки, которая сидела рядом.

– Батя, – сказал Колька страдальческим голосом. – Может, хватит?

– Терпи. Злей возьмет.

– Невмоготу. Сильно печет, зараза!

– Посиди еще трошки.

С минуту Колька еще терпел, но печь стало так сильно, что терпения у него не хватило, и он со словами «Все, батя, шабаш!» стал торопливо выбираться из своего гнезда. Батька тоже не выдержал и полез следом.

Пригнувшись, они трусцой побежали к дому,

распространяя вокруг навозный запах.

Слух о том, что Шустиковы по ночам лечатся у конюшни, распространился по деревне с невероятной быстротой. Кто проговорился, неизвестно. Кузьма божился, что «ни в жисть не мог». Кусониха тоже отнекивалась. Как бы то ни было, на другой день, когда они с батькой сидели в навозе, Кольке показалось, что он слышал, как кто-то хихикнул в кустах. А когда Кузьма пошел проверить, дробью рассыпались шаги от чьих-то ног и уже внизу, у речки, засвистели, заулюлюкали.

На следующий вечер Кузьма зарядил ружье солью, но все было тихо. Зато где-то совсем близко прошла гармонь, и Кольку больно стеганула частушка:

У меня радикулит:

Тут болит и там болит.

Врач помочь не сможет мне,

Сам я вылечусь в дерьме.

Колька почувствовал, как кровь приливает к лицу и, задохнувшись от обиды, стал вылезать из навоза.

– Куда? – остановил Кондрат Иванович.

– Ша, батя! Вылечился. Хватит! – сквозь зубы процедил Колька.

– Дак, еще три раза только.

– Тебе, видать, понравилось в навозе! Ну и сиди, наслаждайся.

И он пошел домой. Не пригинаясь и не таясь, не

обращая внимания на кусты, невольно оставляя на них метки, как кобель, который метит свой участок, циркая на любой стоячий предмет...

На следующий день Кольку увезли в Голицино, в районную больницу. Радикулит обострился, и ему стало хуже. Не меньше мучили ожоги. Врач, узнав, что он сидел в навозе, обозвал его дураком. Колька стерпел, потому, крыть, как говорится, было нечем.

Батя, Кондрат Иванович, отходил дома. Кусониха сварила мазь, и Полина Степановна мазала его на ночь.

Орёл, 1980 г.

КОБЕЛЬ

Санька Шорнин жену любил, хотя прожил с ней двадцать лет, дочь выдал замуж, и вторая ходила в невестах. Звали жену Любовью.

А дочерей называли Верой и Надеждой. И хотя изменять жене у Саньки особых оснований не было, потому что ей по ее достоинствам ни одна женщина в подметки не годилась, на женщин он глядел яростно. Была Любовь женщиной рослой, почти на полголовы выше Саньки, и, грех жаловаться, всего в ней было с гаком, так что дели на двух и еще останется. Но и Санька был мужик кряжистый, и голос у него был утробный; если пел или скандалил – вся улица слышала. В пьяном виде он подчинялся только жене, и она, усмиряя его, применяла силу вплоть до предмета. Соседи по этому поводу говорили, посмеиваясь, что милые ссорятся – только тешатся.

Всему двору было также известно, что Санька – мужик кобелистый, а еще все знали, что любовью с женой он занимается там, где ее позывы застанут его врасплох. Стирает ли жена, готовит обед или моет – ничто не останавливает. И говорил об этом Санька с поразительным бесстыдством. Видно, это дело для него было таким же обыденным, как тарелку щей

выхлебать. Над ним посмеивались, а Любовь возмущалась и ругала Саньку последними словами, но видя, что Санька ухмыляется, безнадежно махала рукой: что с дурака взять, и совершенно не обращала внимания, когда он, заигрывая с соседками, молодыми женщинами, хлопал их пониже спины или обнимал, с силой прижимая к себе.

– Люб, уйми своего кобеля! – просили женщины, отбиваясь от Саньки.

– А вы дайте ему по морде, чтоб не лез! – советовала Люба.

– Люблю я вас, заразы! – искренне восклицал Санька. – Всех бы перецеловал.

Женщины смеялись...

Грехопадение случилось неожиданно. Как-то после крепкой выпивки Санька, проспавшись к вечеру, пошел на речку сгонять дурь. С похмелья он всегда лез в речку и купался до посинения. Это помогало: после водных процедур в мозгах наступало просветление. Но на том месте, где он обычно купался, на траве сидела компания: две девушки и парень. При свете луны поблескивали стаканы и матово светилась голубым светом бутылка. Санька остановился чуть подальше, разделся до трусов, чуть постоял и, покосившись в сторону компании, решительно снял трусы. Зажав ладошкой низ живота, не раздумывая, бросился с разбегу в воду. Невнятно матернулся и саженьками

поплыл к тому берегу. Вода сначала обдала холодом, но скоро парным молоком стала ласкать тело, и когда Санька совсем перестал чувствовать освежающую прохладу воды, стал вылезать. Поглядывая на девушек, он опять, опустив руки книзу, трусцой поспешил, к одежде. По телу сразу побежали мурашки. На берегу было холоднее, чем в воде. Надев трусы прямо на мокрое тело, Санька стал энергично махать руками и приседать.

– Дядя, – услышал он. – Иди погрейся.

Санька повернулся на голос и увидел, что одна из девушек наливала в стакан вино или водку. Надевая на ходу штаны, он подошел и поздоровался.

– Садись, керя. У Машки блажь – угостить тебя, – усмехнулся парень.

– Это можно, – весело сказал Санька, напуская на себя бесшабашно удалой вид, и принял стакан с водкой из рук той, которую парень назвал Машей.

– Дай бог, не последняя, – проговорил он развязно, втираясь в компанию, и лихо опрокинул стакан. Маша сунула ему в рот свежий огурец. Водка обожгла желудок, и Санька почувствовал прилив телячьего восторга.

– Эх, девочки, – сказал он, – Знал бы такое дело, гитару взял бы с собой. Как бы я сейчас спел вам! Для, тебя, курносая, особенно, – со значением посмотрел он на Машу.

– Люблю певунов, – засмеялась та, играя глазами.

Была она по деревенски ладная, с круглым лицом, и Санька, успев оценить ее достоинства со своей мужской точки зрения, придвинулся к ней поближе. Сидел он, как был, без рубашки, крепкий, с рельефно бугрившимися мышцами и хорошо обозначенными бицепсами.

– А это у тебя чтой-то? – дотрагиваясь до наколки на Санькиной груди, спросила Маша.

– Да так, по молодости колол, – замирая от опущения близости к молодой женщине и сглатывая слюну, ответил Санька. Он как охотничья собака, которая почувствовала дичь, начал вздрагивать и уже никак не мог унять дрожи. И чувствовал, что Маша понимает его состояние, но не торопится отнять руку от его груди и все водит рукой по наколке, словно повторяя ее рисунок. Санька краем глаза посмотрел на соседнюю пару. Те сидели обнявшись и не обращали на них никакого внимания. Тогда Санька притянул Машу к себе, и его рука, скользнув по ее телу, уткнулась в молодую крепкую грудь.

– Стой, горячий какой, – слегка отстраняясь, зашептала Маша. – На-ка, выпей лучше водочки...

Домой Санька пришел к ночи. Любовь не спала, но когда он пришел, она успокоилась и, ни о чем не спросив, легла спать.

А на следующий день Сашка проговорился. С

самого утра его распирали гордость, и он раздувался как индюк от удовлетворенного мужского самолюбия. Сидя за кухонным столом, он стал хвастать, что никакая девка перед ним не устоит, если он захочет. Люба готовила обед и, по обыкновению, не обращала на его трепотню никакого внимания. Это Саньку вдруг задело, и он сказал неестественно похохатывая:

– Вчера-то на речке ... В компанию попал...

– В какую еще компанию? – безразлично спросила Любовь.

– А шут его знает, в какую. Девки были. Молодые. Одна мной интересовалась очень

– Ну и что? – насторожилась Люба.

– Ну, и все, – не ощущая грозы, ляпнул Санька. – Что хотел, то и сделал.

От сильнейшей оплеухи Санька свалился со стула и, став на четвереньки, пытался подняться, но Любовь смаху опустила на него доску для резки овощей, и Санька, крикнув, пополз, как был на четвереньках, из кухни в зал, пытаясь спастись от ударов. Но Любовь, отбросив доску, с ярость, пугающей Саньку, никогда не видевшего жену в таком бешеном состоянии, вцепилась в его волосы обеими руками и возила из стороны в сторону, приговаривая: «Ишь, кобелюга, проклятый, додумался. Я тебе покажу девок!» Растерянный Санька даже не пытался сопротивляться ураганной силе и пришел в себя только на улице, куда

его вытолкала Люба. Потоптавшись на крыльце, он застучал в дверь:

– Дай хоть пиджак, дура!

Громыхнула щеколда, пиджак вылетел на улицу и накрыл Саньку с головой так, что он не успел придержать дверь, и она захлопнулась перед самым его носом.

– Чтоб твоей ноги здесь больше не было. Придешь, игрушку твою срамную с корнями выдеру, – донесся из-за дверей голос Любаши. Зябко передернув плечами, Санька надел пиджак прямо на майку и поплелся к ребятам в общежитие.

На следующий день, когда Санька Шорнин пришел в цех, о его ночной истории и скандале, который ему закатила Любаша, не знал только мастер Иван Данилович. Взглянув на лиловый фингал под глазом и мрачную физиономию Саньки, он с усмешкой спросил:

– Опять воевал по пьяному делу?

Санька рассказал свою историю и мастеру. Рассказывая, он все меньше чувствовал свою вину, и все больше поднималось в нем раздражение против жены. «Ты скажи словами, – пожаловался он, рассчитывая на сочувствие. – А зачем же за волосы?»

– Вот уж действительно, если ума нет, то и не будет, – брезгливо сказал мастер. – Нашел, чем перед женой хвастаться.

– Подумаешь, дело какое! Бабу уважил.

– Тьфу, турок. Ему про Фому, а он про Ерему.

Иван Данилович неторопливо пошел к конторе, но у дверей остановился и ехидно посоветовал:

– Ты, когда болезнь дурная обнаружится, тоже не забудь жену порадовать.

Ребята заржали. Санька растерянно заморгал глазами, хотел что-то возразить, но передумал и молча уткнулся в свой верстак.

Он никак не мог понять, что, собственно, случилось, и почему над ним смеются. Но в душу уже заползло беспокойство. А когда он стал перебирать подробности вчерашнего скандала и вдруг ясно увидел перекошенное от ярости лицо жены, испугался. И теперь тревога уже не покидала его. Он словно по инерции зажимал в тиски деталь и водил по ней надфилем, снимая заусенцы, но думал только о том, как бы уладить все дома миром, со страхом представлял, как покажется жене на глаза, и, лихорадочно перебирая различные варианты примирения, тут же отвергал их, потому что все они были зыбки и ненадежны.

Орёл, 1978 г.

БАЛАМУТЫ

Иван Круглов и Колька Шустиков приехали в райцентр за запчастями рано утром, а к обеду уже были на заметном веселе. Свой побитый ЗИЛ Иван поставил к сестре во двор. Муж сестры, Володька, был в это время в отгуле, а так как жена Ксения ушла на работу, то еще до десяти утра сходил к знакомой продавщице и принес поллитру. Втроем они эту поллитру выпили одним махом, так что в десять Колька Шустиков купил вторую уже официально по открытию винно-водочного отдела, и пили на этот раз под закуску. Володька слазил в погреб за огурцами, поставил на стол кастрюлю с картошкой и сковороду жареного мяса. Под третью бутылку хлебали жирные щи со свиной и без счета пили сырые яйца, а потому на столе вскоре высилась внушительная горка скорлупы.

Когда Ксения пришла на перерыв – все было кончено. Иван с Колькой сидели рядышком за столом и тарачили на нее дурные глаза, а ее Володька, безмятежно раскинувшись прямо в сапогах на неразобранной кровати, спал мертвым оном, и его неровный храп пугал кошку Муську. Она нервно водила ушами и время от времени дергала головой, стряхивая с себя неприятные ощущения.

С минуту Ксения безмолвно стояла в дверях. Потом лицо ее покрылось красными пятнами, и она, подлетев к кровати, стала стаскивать Володьку на пол. Это ей удалось без труда, так как баба она была кряжистая.. Володька с деревянным стуком опустился на пол и с недовольным рыком стал переворачиваться на четвереньки, а, перевернувшись, полез на кровать снова. Еще раза два свалив мужа на пол, Ксения отступилась и, всхлипывая, стала стаскивать с него сапоги.

– Ксения, – с пьяной суровостью сказал Иван, – не трогай. Пусть спит.

И прикусил язык, потому что задетая Ксения, словно бодливая коза, набросилась на них с Колькой Шустиковым.

– Чертовы пьяницы, – выговаривала Ксения. – Чтоб у вас глаза от водки повылазили. Ишь, сидят, обормоты, глазами хлопают. И ведь никакая холера не берет. Смерть и та стороной обходит. Васька пьяный на тракторе в речку свалился. Думали – все, один отпился. А он вылез и тут же в сельмаг за водкой пошел. Я, говорит, чудом спасся и не должен от простуды умереть.

– Ну, паразит, погоди, – заметив ухмылку на лице брата, вскипела Ксения. – В субботу приеду, Тоньке все расскажу. Будет тебе на орехи! Уж попомнишь!

– А что я сделал-то? – насторожился Иван. – Выпить нельзя?

– Сами нахрюкались – вон, тоже зюзя сидит, – кивнула она на Кольку. – Зачем Володьку напоили?

Да он всего одну поллитру и выпил, – стал оправдываться Иван. – Закусил плохо, его и сморило.

Поллитру? – ужаснулась Ксения и заплакала. – Ведь помрет же. Она невольно покосилась на кровать. Но Володька выводил носом рулады и не похоже было, чтобы он собирался помирать.

Колька недоверчиво усмехнулся:

– Скажет тоже. От поллитры помрет!

Но Ксения пропустила его слова мимо ушей. Она смотрела на стол, где стояли пустые кастрюли и висилась горка яичной скорлупы.

– Все сожрали, паразиты, – возмутилась она. – Чтоб к моему приходу ни соринки не было! – снова выходя из себя, приказала Ксения. – Все вымести и вылизать.

– Ванька, – пригрозила она брату. – Смотри. Приду с работы, будете пьяными – выгоню и ночевать не пушу. Ложитесь лучше спать сразу.

И Ксения вышла, хлопнув дверью ...

Иван проснулся от того, что нестерпимо хотелось пить. Он встал и с жадностью выпил два полных ковша воды. Холодная вода погасила огонь, полыхавший внутри, и Иван удовлетворенно крикнул. Колька спал в неестественной позе, придавив туловищем руки и свесив одну ногу с дивана. Ему явно

было неудобно, и на лице лежала печать великомученика. Иван, жалея Кольку, вылил на него ковшик воды, и тот, отплеываясь, стал вставать.

У тебя деньги есть? – опросил Иван ошалевшего от сна приятеля. Колька стал шарить по карманам, но кроме медяков ничего не нашел.

– Нету, – хмуро сказал он. — А у тебя?

– Тоже нету ... Куда же они делись? Неужто все пропили? – удивился Иван.

А у Павлинихи самогон брали, – напомнил Колька.

А чего же теперь делать-то?.. Ну-ка, буди Володьку.

Володька лежал теперь на боку и дышал неровно, с присвистом.

Когда вдвоем его с трудом разбудили, Иван сразу спросил про деньги.

– Откуда? – держась обеими руками за голову, сквозь зубы сказал Володька. – Ксюшка, черти б ее подрали, на весь день полтинник оставила.

Иван задумался. Он сидел на табуретке в позе мыслителя, подперев подбородок кулаком.

– Может, к твоему дядьке, Федору сходить? – спросил он Кольку.

– Да ты что? – замахал руками Колька и при этом сморщился как сушеный гриб. – Копейки не даст. У этого зимой снега не выпросишь.

– Ну, тогда у Вальки.

– У моей двоюродной? – даже засмеялся Колька. – Да ей мужик каждый руб под расписку дает. Она получает и ему все деньги отдает, а он ей выделяет на каждый день на хозяйство.

Тогда пошли к Семену Гавриловичу.

– А даст? – недоверчиво спросил Колька.

– Даст. Скажем, корову привели на убой. Мол, сдадим – рассчитаемся.

– Не поверит,

– Поверит. Ты разве на быка не похож? – с серьезным видом оглядывая Кольку, сказал Иван. Тот засмеялся.

Обретя цель, Иван шел резво, и Колька едва поспевал за ним. Володька же топал сзади, сбиваясь на марафонский шаг. Лицо его не выражало при этом никакой мысли; у него болела голова, и ему было не до этого.

По дороге Иван неожиданно спросил Кольку:

– Мычать умеешь?

– Умею, а что?

Привяжу тебя вместо коровы, будешь мычать, – пошутил Иван.

– Ну-ка, помычи! – потребовал он.

– Му-у! – очень натурально промычал Колька.



Прохожая женщина поспешила уступить им дорогу и недоуменно посмотрела вслед.

– Молодец! – искренне похвалил Иван и стал развивать план:

– В общем, так. Придем в заготскот, ты стань за сараи, чтобы тебя не было видно из бухгалтерии, а ты, Володька, стой во дворе, чтобы Колька тебя видел, а сам следи за окном. Как я знак подам, пусть Колька мычит.

– А зачем? – спросил Володька.

– Ну, кореш, видать, у тебя всерьез с головой что-то не в порядке, – отметил Иван и сочувственно посмотрел на зятя. – Деньги-то я буду брать под корову. Понял?

– И что? – делая отчаянное умственное усилие, спросил Володька.

– А корова-то где?

– Не знаю.

– А вот она, – весело заключил Иван и хлопнул Кольку по спине.

Когда Иван, переведя в коридоре дух, вошел в контору заготскота, Семен Гаврилович сидел в своем углу у окна, щелкал костяшками счет и, шевеля губами, переносил цифры на бумагу.

– Тебе чего, Иван? – спросил он, увидев подошедшего Ивана.

– Да корову привел, Гаврилыч.

Семен Гаврилович снизу из-под очков внимательно посмотрел на Ивана и продолжал считать. Тогда Иван боком придвинулся к самому окну и стал ждать, когда замычит Колька, но тот молчал, и

Иван, выйдя из себя, бросился на крыльцо и стал материть подскочившего Володьку.

– Ты что, так растак твою в три колена! Я ему знак даю, а он рот разинул, стоит, мух ловит. Правда что, не мычит не телиться. Щас как двину, – замахнулся зло Иван.

– Да не видел я, Вань! – оправдывался Володька.

– Конечно, моча глаза залила! Беги скорей, скажи чтоб мычал ...

– Ты чего как ошпаренный выскочил? – спросил Семен Гаврилович, когда Иван опять вернулся в контору.

– Да корову смотрел.

В это время «корова» замычала.

– Слышь, Гаврилыч, десятка нужна, – понижая голос до шепота, сказал Иван. – Надо кой с кем будет выпить. Корову сдам, Гаврилыч, принесу.

А корова все мычала, и Иван занервничал. «Заставь дурака богу молиться», – подумал он. Но Семен Гаврилович достал вожделенную красненькую бумажку и, протянув Ивану, поманил его пальцем и шепнул: «Нальешь грамм сто».

– О чем разговор, Гаврилыч! – с готовностью согласился Иван. – Я тогда вызову.

А «корова» не переставая мычала, и Ивана начал разбирать смех.

– У тебя она что, бешеная что-ли? – имея ввиду корову, спросил Семен Гаврилович.

– Бешеная, – давясь от смеха, сказал Иван. – Пить хочет. Щас напою – замолчит.

Поллитру распили там же, за сараем. Стакан принес Семен Гаврилович. Закусывали сырками, купленными в магазине.

– Где же корова-то? – вытирая губы мятым платком, спросил Семен Гаврилович.

– А вот она! – показал Иван на Кольку. – Ну-ка, Колюн, изобрази.

Колька не заставил себя ждать и натужно промычал.

– Вот сукин сын, – оторопело сказал Семен Гаврилович и с досадой добавил: – Кабы знал, денег не дал бы.

– Да ты не сомневайся, Гаврилыч, в понедельник приеду – привезу. Ты что, меня не знаешь?

– Смотри, Ванька, а то в другой раз на глаза не показывайся! – пригрозил Семен Гаврилович и пошел в свою контору, так как рабочий день уже заканчивался. Володька тоже запросился домой. После ста граммов его уже повело, и он опасался Ксении.

– Иди, черт с тобой, – отпустил заты Иван. – Ксюшке только скажи, что, мол, трезвые, по делам пошли.

И они опять отправилась в магазин...

Проснувшись утром на жестких железных койках, никак не могли понять, где они и как здесь очутились. Рядом стояли другие кровати, и все они были заняты.

– Ванька, никак мы в вырезвители, – сказал Николай, заметив решетку на обитой железом двери.

– Да ну? – удивился Иван. – Это как же так?

– А я знаю? – пожал плечами Николай.

Проверив карманы и не найдя нарядов на запчасти, Иван забеспокоился.

– Документы не у тебя? – спросил он Кольку.

– Ничего нет, – хмуро ответил тот, пошарив по карманам. – И денег нет, – добавил он.

Иван осторожно постучал в дверь. Никто не ответил, и он постучал сильнее. Кто-то заглянул в глазок, потом ключ повернулся в замке, и в дверях показался милиционер.

– Проспались, соколики? – с издевкой спросил он.

– Товарищ старшина! За что забрали-то? – вежливо поинтересовался Иван.

– Бутылка тебе товарищ! – отшил Ивана старшина.

– Гражданин начальник, – Послушно поправился Иван. – За что мы сидим-то?

– Не знаешь? – притворно удивился старшина. – Ну, ничего, лет десять получишь, узнаешь.

– За что? – заволновался Колька, но старшина больше не стал разговаривать и захлопнул дверь.

– Колька, никак человека убили! – упавшим голосом сказал Иван, сразу забывший про запчасти.

– Иди ты? – насмерть перепугался Колька.

– Слышал? Десять лет, говорит, дадут.

– Мент лапшу вам на уши повесил, а вы слюни пускаете, – лениво вмешался небритый мужик с уголовной физиономией. – Кабы мокруха, вас бы сюда не привели, а отдельную камеру предоставили.

От души после этих слов немного отлегло, но неопределенность томила, сосало под ложечкой, и на сердце было беспокойно. Час показался вечностью, и они еле дождались пока их вызвали к дежурному...

Получив по пятнадцать суток за пьяный дебош и разбитое стекло в магазине, за которое тоже предстояло заплатить, они с облегчением вздохнули.

Но тут же тревога снова поползла по нервам, и опять на душе стало мутно. Иван представил, как зальются краской Тонькины веснушки, как заплачет она от обиды, и как ненавистью полыхнут ее глаза, когда узнает, что его посадили, и после этого, скорее всего, возьмет детей и уйдет к матери. Потом он вспомнил про запчасти и так ясно увидел разгневанное лицо председателя Степана Федоровича, что зябко поежился.

А Колька, видно, думал о своем, потому что сказал неожиданно:

– Вань, а Вань... А я думаю, мы и правда могли человека убили!

Орёл, 1979 г.

СКЛОКА

Шофера Федора Истратова послали в Москву в командировку получить запчасти и кое-какие комплектующие. Когда он зашел в канцелярию, чтобы оформить командировку, молодая незамужняя Зойка Титова дала ему пятерку и попросила привезти губную помаду. И сразу посыпались заказы. Кто просил привезти моток шерстяных ниток, кто коробку конфет и, надо сказать, Федор никому не отказал. Жена же, Клавдия, наказала купить побольше колбасы.

Пришлось помотаться, но все о чем просили, Федор выполнил. И запчасти получил, и помаду купил, и нитки; и колбасы привез пять килограммов.

Сдав груз и отчитавшись за командировку, он пошел отдыхать.

Дома выпил водки, поел и, вытянувшись на диване с газетой в руках, стал ждать жену. Колбасу он вывалил на стол, и она лежала впечатляющей горкой. Но Клавдия с работы пришла злая, как пантера, и, не взглянув ни на Федора, ни на колбасу, прошествовала напрямиком на кухню. Федор встал и пошел за ней.

– Тебя что, мухи покусали? – сказал Федор.

– Смотри, сейчас тебя покусают! – огрызнулась жена, и завязалась обычная у них перепалка, которая закончилась скандалом. Федор вспыхнул как порох.

– Ну-ну, – сказал он. – Ты язык-то попридержи, а то живо укорочу.

– Еще чего, кобель лысый!

– Кто кобель? Я? – Федор задохнулся от гнева и готов был уже слегка тряхнуть Клавдию, но та успела погасить его амбицию, объяснив:

– Как же не кобель, если к незамужней бабе ладишься?

– Кто? Я? – удивился Федор.

– Да уж не я!

– Это к какой же бабе я лажусь?

– Сам знаешь, к какой. К Зойке, которая у вас в канцелярии работает.

– Это кто тебе сказал?

Добрые люди сказали.

– Я этим людям, гадам ползучим, ребра переломаяю. Тебе в глаза брешут, а ты уши развесила.

– Брешут? А помаду для губ, кто Зойке подарил?

– Я? Зойке? – возмущению Федора не было предела. – Да я ... Да она мне пятерку давала, привезти просила.

– Вот просила и привез. А теперь сам иди туда. Мне кобель не нужен. Давай выметайся.

– Ты что, сдурела что ли? Я как ишак колбасу тасил, думал спасибо скажут, а тут ... вона что.

– Ешь сам свой колбасу.

Клавдия пошла к вешалке и молча стала одеваться.

– Ты куда? – растерялся Федор.

– Куда надо! – ответила Клавдия и хлопнула дверью так, что в серванте звякнула посуда.

Часов до десяти Федор ждал еще, что Клавдия вот-вот вернется, а в десять пошел за ней к теще, Марии Васильевне, но та его даже на порог не пустила.

– Чего пришел? – сурово спросила она зятя.

– Да вы что, все с ума посходили что ли?

– Неизвестно еще, кто посходил, – сказала теща. – Жена дома сидит, а он кобелюет.

– Да я в командировке, в Москве был, – отчаянно закричал Фёдор.

– Знаем мы, в какой ты Москве был.

– А колбаса откуда? – нашелся Федор.

– Тот-то его знает, откуда. Тебе лучше знать.

– А вы докажите, – безнадежным голосом произнес Федор.

– А нам нечего доказывать, ты доказывай.

И теща захлопнула дверь так, что он едва успел отдернуть руку, которой держался за косяк.

Федор поплелся домой, переваривая слова насчет доказательства. Дома он допил бутылку водки, и ему пришла в голову мысль пойти к Зойке и поговорить с ней, чтобы она подтвердила Клавдии, что он не дарил ей помаду, а купил за ее деньги.

Зойка жила далеко, на окраине, в маленьком частном домике. Федор знал адрес, потому что как-то

подвозил ей выпиленные отходы досок, и дом нашел без труда. Несмотря на позднее время, в окнах горел свет. «Дома», – подумал с облегчением Федор, но тут же вспомнил, как про Зойку говорили шоферы, что, мол, Зойка спать одна не любит, и нерешительно стоял у калитки, думая, постучаться или нет. «Может, у нее кто есть там, а я ввалюсь: «здрассте»,– прикидывал Федор. «Ну и что? Я по делу», – решил он и постучал в окно.

Зойка удивилась его приходу, но встретила радушно, вроде, даже обрадовалась.

– Федя? Каким ветром?

– Да поговорить надо... У тебя никого нет? – брякнул он, освобождаясь от занимавшей его мысли.

– Нет, а кто у меня должен быть? – кокетливо улыбаясь, спросила она.

– Ну, мало ли, – смутился Федор.

– Проходи, проходи. Самое время ночью разговоры разговаривать, – засмеялась Зойка.

В комнате было чисто и уютно. Мебель была хорошая, полированная: деревянная кровать, трельяж, мягкие кресла, красивый сервант, заставленный посудой, на стене ковер. Потолки были такими низкими, что даже Федор с его небольшим ростом мог бы достать до них рукой, но от этого комната казалась еще уютней. Федор невольно задержал взгляд на кровати, приготовленной для сна, вспомнил разговоры,

которые велись о Зойке среди шоферов, и во рту у него стало сохнуть. Зойка поймала его взгляд и усмехнулась.

– Садись-ка за стол. Водочкой угощу.

Федор сел за стол, и пока Зойка хлопотала, напряженно следил за ней. И теперь его уже неотвязно преследовала мысль о близости с Зойкой. А она, точно понимала, что творится с Федором, дразнила его, крутилась вокруг и, ставя на стол стаканы и закуску, цепляла его то боком, то рукой.

– Ну, Федечка, про что ты хотел поговорить со мной? – насмешливо спросила Зойка, когда они выпили. – Чего ночью-то пришел? Клавка выперла?

– Я ее выпер. К матери ушла! – натянуто улыбаясь, соврал Федор, и ему уже не хотелось говорить с Зойкой о жене, но она спросила:

– За что это ты ее?

– Из-за тебя.

– Да ну? – удивилась Зойка, делая серьезное лицо, а искорени смеха прыгали в глазах.

– Вроде я тебе помаду подарил! – весело сказал Федор.

Зойка расхохоталась. Она подошла к Федору, одной рукой обняла шутливо за шею, а другой стала гладить по волосам.

– Бедненький, – приговаривала она. – Пожалеть некому.

Совсем потеряв голову, Федор схватил Зойку за руки и, завалив к себе на колени, стал жадно шарить руками по телу, покрывая лицо поцелуями.

– Подожди, – просила Зойка. – Да подожди же ты, – отрывая его руки, сказала она. – Дай свет погашу...

От Зойки Федор уходил рано утром. Она еле его растолкала, и он долго не мог сообразить, где находится, а вспомнив, стал быстро одеваться. Ему было неловко, и он злился на себя и на Зойку и, глядя на ее некрасивое лицо, с раздражением думал: «Правду говорят, что ночью все кошки серые».

– Может, поешь чего? – спросила Зойка заботливо.

– Да нет, пойду! – пряча глаза, сказал Федор.

– Да не терзайся ты! – посоветовала Зойка.

– Ты того. Не очень распространяйся, – начал было Федор.

– Да не бойся! Я твоей семейной жизни касаться не собираюсь, – обиделась Зойка. – Это вам, мужикам, языки повыдирать нужно. Хуже баб. Как помелом мелете ... Нравишься ты мне, того и была с тобой, а так, брешут про меня больше. А, может, того и брешут, что не одному на двери показывала.

– Извини, если обидел как, – смутился Федор.

– Ладно, чего уж, — беззаботно засмеялась Зойка и добавила с напускным весельем:

– Заходи, когда Клавка снова выгонит...

Вечером, когда Федор пришел после работы домой, Клавдия гремела на кухне кастрюлями. Фёдор молчком разделся и пошел в комнату. Развернув газету на четвертой странице, он стал смотреть спортивные новости.

– Иди есть, что-ли, — позвала Клавдия.

Федор, вроде нехотя, пошел на кухню.

– Где Анжелка? – спросил он про дочь.

– А мамка приведет. У ней ночевала.

Клавдия искоса посмотрела на мужа, проверяя настроение, и сказала, как бы, между прочим:

– Марь Ванну случайно встретила из вашей канцелярии.

«Специально поджидала», – не поверил Федор и насторожился.

– Говорят, ты там всем поприез гостинцев разных, – снисходительно продолжала Клавдия.

– Денег дали, вот и привез, – угрюмо ответил Федор.

– Мне, небось, не привез.

Разговору не было! – сказал Федор и понял, что очередная склока, затеянная Клавкой и тещей, уладилась и больше опасаться нечего. Но, когда подумал, сколько таких склок еще впереди, с тоской вспомнил Зойку и, посмотрев вдруг на жену с каким-то ликующим злорадством, заработал ложкой.

Орёл, 1979 г.

МЕРОПРИЯТИЕ

Совещание у директора небольшого нарышкинского предприятия по ремонту тракторов подходило к концу, когда слова попросил председатель месткома Ганнушкин, солидно откашлялся и сказал:

– Товарищи! Я хочу заострить ваше внимание на быте наших трудящихся. Скажу прямо, – быт ни к черту...

Все насторожились, а директор потребовал:

– Яснее выражайся, Василий Петрович.

– Яснее некуда, Анатолий Евсеевич. Рабочие ходят грязные, в мазуте и масле.

– А что же им, в саже ходить? – засмеялся начальник сборочного цеха. – Они же трактора собирают, а не трубы чистят.

Дружно посмеялись шутке.

– Так они в мазуте по району ходят, – сказал Василий Петрович. – Предприятие позорят.

– Ну, знаешь ли! – сказал начальник снабжения. – Теперь нам их мыть, что-ли?

– Что ты имеешь в виду? – спросил директор.

– Душевые имею в виду, которые давно нужно поставить. Они у нас в перспективном плане записаны.

– Так ты думаешь, что если душ поставить, они будут чистые ходить? – усмехнулся директор.

– Да уж, наверное, после душа-то человек чище становится.

– Конечно... если он в этот душ пойдет, – добавил кто-то из сидящих.

– Как это не пойдет? – удивился Василий Петрович.

– Да очень просто, – пояснил директор. – Было у нас до тебя две сетки. И что? Разве кто изредка помоемся, чтобы от жены отвязаться, когда в баню посылает. Абы не брехала. А так, никто не хочет после работы время тратить.

Так дома-то все равно мыться надо, – возразил Василий Петрович.

– Дома – это, как говорится, «после того»... А что, ты хуже меня знаешь, что в четыре часа штурм винного отдела начинается? Какое уж тут мытье? А потом, хорошо, если домой на своих ногах придет, а то и так спать завалится. Это в городе в транспорте ездить приходится. В грязном не пустят, так что волей неволей переодеваться приходится. А тут вышел: вот – магазин, а вот – дом. Проспался и на работу.

– Ну, уж вы, Анатолий Евсеевич, очень мрачную картину нарисовали, – вступился парторг товарищ Дубинин. – Предложение дельное. Действительно, душ нужен. И надо подумать всем вместе, как лучше поставить хотя бы несколько сеток. Тем более, что в плане перспективного развития записано.

– А под душ что, силой загонять будем? – спросил главбух Сидоров Иван Макарович, блеснув стеклами очков.

– Посмотрим. Что-нибудь придумаем, – пообещал парторг.

– Магазин перевести надо, – предложил кто-то.

– Куда перенести? – с иронией спросил начальник сборочного цеха. – Весь райцентр полтора километра.

– А может, запретить торговлю вином? – предложил главбух Сидоров.

– Тоже мне, министр торговли нашелся, – возмутился начальник транспортного цеха. – У нас еще сухого закона не ввели.

– Как бы там ни было, – сказал уверенно Василий Петрович. – Организуем душ и вовлечем рабочих в это мероприятие – пьянок будет меньше. В грязном человеке человеческое достоинство пропадает. Вот он водку и пьет, еще грязи ищет.

– Философ, язви твою колотушку! – взвился начальник транспортного цеха. – По-твоему, все несчастья от того, что человек не моется. Как в баню сходил, так крылышки и выросли.

Все, засмеялись. Однако за установку десяти сеток душевых проголосовали единогласно.

Когда на проходной появилось объявление о том, что в красном уголке состоится лекция на тему «Личная гигиена как профилактика инфекционных

заболеваний» и что читать лекцию будет врач из области, на него обратили внимание в основном конторские женщины. И закрыв контору без пятнадцати минут четыре вместо пяти, они сидели в красном уголке, ожидая начала лекции.

В четыре часа к проходной двинули рабочие, но там уже стоял заслон из начальника отдела кадров Строева и председателя месткома Ганнушкина, которые заворачивали всех на лекцию.

Рабочие недовольно ворчали, но на лекцию шли, выражая при этом соответствующими словами свое отношение к мероприятию.

Доктор, бойкая старушка лет шестидесяти пяти, в очках и белой детской панамочке, посаженной набекрень, начала лекцию с экскурсии в историю. Она стала пугать мором, который прошелся по Европе в XV веке черной оспой, сообщила о вспышках эпидемии чумы в Москве при Екатерине II, не обошла молчанием холеру и закончила сыпным тифом, который косил людей еще в первую мировую войну. Оказывается, все это было результатом полного отсутствия личной гигиены.

При дворе французского короля Людовика XIV стояла такая вонь, что женщины падали в обморок. А в салоне известной Помпадур насекомых били специальными дощечками в виде щипцов – блохобойками, которые носили на шее вместе с

лорнетом и старались поэтичней украсить, потому что блохобойка служила также и украшением. Какая уж тут гигиена!

Лекцию слушали, что называется, с раскрытым ртом. Доверительно сообщив о вопиющих антисанитарных условиях и катастрофической смертности в капиталистических странах, старушка-лекторша нарисовала солнечную картину санитарной службы в соцстранах, отметив особое внимание, которое уделяется вопросам гигиены в нашей стране, привела несколько примеров из быта, и, наконец, жизнерадостно провозгласила: «Чистота – залог здоровья!», закончив свою лекцию под гром аплодисментов.

Предзавкома Ганнушкин от имени всех присутствующих поблагодарил лектора и тут же объявил о том, что с завтрашнего дня на предприятии будут работать душевые, так что – «пожалуйста мыться».

На следующий день Володька Панюшкин с напарником Васей Колышкиным прихватили на работу по смене чистого белья и хорошую верхнюю одежду и, едва дождавшись конца смены, заспешили в душевые, чтобы успеть занять кабины. Но с удивлением заметили, что занята только одна кабина.

– Не густо! – заметил Вася. Но чистота, как верно сказала бабуля, – залог здоровья. Вперед.

Когда чистые и причесанные вышли из душа, Володька, сияя довольной физиономией, сказал:

– Ну что? Надо обмывать!

– Естественно, – согласился Вася.

Ребята из сборочного, находившиеся в продмаге по причине второго захода, встретили их насмешками.

– Пижоны! – оглядев Володьку с Васей, – сказал дядя Коля Козлачев, начисто отменяя их от своей компании. Но Володьке с Василием это было в какой-то степени лестно; они не стали фордыбачиться и пошли пить особняком, ощущая превосходство от сознания некоторой неординарности, в которой находились благодаря душу. Они чувствовали себя свободно и раскованно и, выпив в закуской, что напротив магазина, пошли куролесить по Нарышкину, обходя дальних родственников.

Домой они заявили поздно. Что было с Васей неизвестно, потому что его жена находилась в это время в деревне Звягинки у матери, а Володьке Ксения закатила скандал.

На следующий день все душевые с легкой Володькиной руки были заняты, а в последующие дни работали с повышенной нагрузкой. Пример оказался заразительным.

На второй день Володькина жена Ксения закатила ему еще один скандал, а на третий потребовала, чтобы он с работы шел сразу домой как есть, то есть без всякого душа, а поэтому чистого белья с собой не дала.

А еще через день в завком пришли женщины, решительные и злые.

– Закрывай свою баню, Василий Петрович – потребовали они.

– Это как, то есть, закрывать?

– Так! Безобразия терпеть не будем.

– Какого это безобразия? ... Только тише. Давайте кто-нибудь один. В чем дело?

Вперед выступила бойкая Козлачева.

– Душ поставили? – начала Козлачева с вопроса.

– Ну, поставили, – подтвердил Ганнушкин.

– Так вот, снимай назад. Нашего бабьего согласия на него нет.

– Да чем вам душ-то помешал? – возмутился Ганнушкин.

Женщины опять разом загалдели, и Ганнушкин прикрикнул:

– Тихо! Базар тут устроили. Сейчас всех выгоню.

Женщины замолчали.

– Ну, – сказал Ганнушкин, обращаясь к Козлачевой. – Говори.

– Мужики домой стали ночью заявляться. И где шатаются, неизвестно.

– Ну, а при чем здесь душ?

– А вот при чем. Раньше мой Колька, бывало, хоть и выпимши, а приходил домой засветло. И то, куда идти в рабочем, если от тебя собаки шарахаются. А

теперь моду взяли. Мало того, что пьют, еще и гуляют. Хорошо, скажем, он помылся, да пить пошел. А ну, если он к бабе какой ходить начал?

– Что ж ты от меня хочешь? Чтобы я его после работы до дома провожал? – пошутил Василий Петрович.

– Ты не шути, Василий Петрович, а давай душ закрывай.

– Да душ-то не причем, – попытался возразить Ганнушкин, но ему рта не дали раскрыть, и он вынужден был сделать дипломатический шаг, объяснив, что без директора этот вопрос сам решить не может. Тогда обе стороны продолжили переговоры и пришли, в конце концов, к компромиссному решению: душ пока не трогать, а поговорить с их мужьями и предупредить их по всей строгости.

Когда Василий Петрович доложил директору о своем разговоре с женщинами, тот сокрушенно покачал головой:

– Ну, народ! Вот и свари с ними кашу.

А присутствовавший здесь начальник сборочного цеха с сарказмом произнес:

– Не было у бабы заботы, так купила порося!

– Что ж, по твоему, пусть все самокатом катится... Ходи Ванька нечесаным... Культуру-то надо как-то поднимать.

– Ладно! – решил директор. – Вызови мне этих активных мужиков.

Козлачев, когда ему сказали, чтобы он после работы шел к директору, всполошился. Вроде, в последнее время ни в чем таком не замечен. На работе не пил. Не прогуливал. Но когда узнал, что других тоже вызывают, успокоился и пошел узнавать у ребят, зачем вызывают.

– Ты не знаешь? – спросил он у Володьки Панюшкина.

– Говорят, бабы приходили. Жаловаться на нас, – ответил тот.

– Во, заразы! – удивился Козлачев.

Директор начал издалека.

– Ну, как душ? Моетесь? – поинтересовался он.

– Спасибо, Анатолий Евсевич, моемся, – настороженно ответили ему.

– А после душа идете водку пить, – ровно, в тон ответу сказал директор.

– Да, оно, вроде, так полагается, – ответил за всех Козлачев.

– А тебе, Козлачев, всегда полагается. И с душем и без душа.

Было хоть раз, чтоб ты от водки отказался?

Козлачев усмехнулся. Мол, чего глупости спрашивать.

– Ну, ладно, – строго продолжал директор. – Вот что. Жалуются на вас... Вы что, понимаешь, позволяете? ... Дома семьи, дети у всех, а они с работы не домой, а болтаться куда-то отправляются, понимаешь...

– Что ж, за бабий подол держаться? – сказал тот же Козлачев.

– Ничего, поддержишься. Раньше-то держался?

– Так-то оно так. Но только иной раз, Анатолий Евсеич, такая тоска нападает!

– От тоски ты и пьешь? – с сомнением сказал директор.

– А то от чего ж еще?

– Смотри, Козлачев, а то от этой тоски в кишкинку попадешь! Лечиться тебе надо, Козлачев. Вот что... Ну ладно, а чего ты после работы блудить идешь?

– А чего дома-то? Грызню, что ль, бабью слушать? Слава Богу, теперь душ. Помылся, оделся в чистое – и гуляй.

Анатолий Евсеевич даже рот открыл от удивления:

– Так что, теперь душ закрывать прикажете, что-ли?.. Или магазин? Магазин-то вам и мешает, а не душ. Так вот. Предупреждаю. Поступят еще жалобы, будем разбирать персонально каждого и принимать строгие меры...

– Ну что, мужики? – сказал Козлачев, когда брали водку. – Отмылись?

– Побаловались, хватит! – подтвердил Семен Харитонов.

– Раз в неделю-то можно! – возразил Вася Кольшкин.

– А кто тебе не дает каждый день мыться? – спросил Володька Шишкин.

– Чтоб опять Катька жаловаться пришла? – сказал Козлачев.

– А ты выпил и домой иди! – посоветовал Володька.

– В чистом-то? – удивился Козлачев и даже остановился. – Ишь ты! Да когда я в чистом, мне гулять хочется. Я тогда праздник чувствую...

– Ишь ты, домой иди, – повторил Козлачев еще раз, когда выпили и грязные и усталые шли домой.

Орёл, 1979 г.

АРТИСТЫ

Давали «Верность» Погодина. Актер Яшунский, любимец публики, изящный мужчина лет тридцати пяти играл в шахматы в своей уборной с актером Филипповым, умницей, пьяницей и забулдыгой. Их выход был не скоро, и они сводили вечные счета за шахматной доской.

– Я, дорогой мой, в молодости котировался по первому разряду, – Яшунский снял конем пешку Филиппова.

– А я, золотце, все больше в шашечки, в шашечки, болезный мой, – вторил Филиппов, снимая коня слоном.

«Он же не должен коня брать. Ему мат», – с недоумением отметил про себя Яшунский и, решив прощупать Филиппова, сказал:

– Может, вернуть ход?

– Нет уж, благодетель, не надо.

Яшунский задумался, а посчитав ходы, решил, что дал маху, и прикидывал, удобно ли самому просить коня назад.

В это время «зарыдала» Веронская и, очевидно, бросилась на сцену, потому что рыдания вдруг стали приглушеннее.

Филиалов вздрогнул и произнес:

– Готовь валерьянку, опять будет истерика!

Наташу Веронскую очень хвалили после премьеры «Верности», но потом, когда спектакль сыграли несколько раз, и он утвердился в репертуаре, стала переигрывать, и на нее как-то неловко было смотреть.

«Черт с ним, с конем! Назад просить не буду!», – изучив Филиппова, подумал Яшунский. – Все равно продую». И весело сказал, сгребая фигуры в сторону:

– Сдаюсь!

– Зря, – сказал Филиппов, зевая.

– Пашку Алмазова провожать пойдешь? – спросил Яшунский.

– Спрашиваешь! – оживился Филиппов.

Опустился занавес, а Веронская все рыдала, и ее в самом деле отпаивали валериановкой. Она никак не могла успокоиться, ей дали воды, и, когда она пила, зубы стучали о стакан, а вода струйками текла по подбородку.

Рабочие сцены ставили декорацию к последнему акту. Машинист Давыдович вполголоса кричал на рабочих, которые сидели на сарае и тянули вверх задник. Задник зацепился за что-то одним концом и не хотел идти дальше.

Маленький, широкий в плечах Давыдович, работал в театре уже лет пятнадцать, был с актерами «на ты», а декорацию к любому спектаклю мог поставить с закрытыми глазами.

У рабочих сцены были, конечно, и свои любимые

спектакли. «Король Лир», например. Совершенно простая декорация. Сплошной отдых. Хорошо ставить декорацию к Сартру. Поставил все сразу на круг, а потом знай крути. Хуже с русской классикой. Взять хотя бы «Дворянское гнездо». Семь потов сойдет, пока спектакль кончится. Одной мебели сколько...

Алмазов (Панюшкин) попросил Давыдовича взять человек пять ребят и помочь погрузить вещи в контейнер. Согласились с удовольствием. Кто Пашке откажет!

Алмазова приглашал столичный театр. Никто не знал, как устроил это Алмазов, но факт оставался фактом, он уезжал и давал отходную. Распадался великолепный дуэт: Алмазов – Карасев.

Карасев ходил обиженный и идти на провода Алмазова отказался, сославшись на какие-то чрезвычайные обстоятельства, чему никто не поверил.

Не шел главный режиссер театра Войлович. Намекнули директору, тот уклонился, тоже сославшись на что-то. То да се, понимаете ли!

Многие из стариков восприняли уход Алмазова в столицу очень болезненно, но делали вид, что ничего особенного не произошло, а на провода идти под благовидным предлогом отговорились.

– От зависти перелопались, – дала явлению характеристику успешная Аллочка Волошина. Она тоже шла на провода. Уход Алмазова ее вдохновил. Она сияла так, будто сама ехала в Москву, а не

Алмазов. Столичный театр был тайной мечтой Волошиной, и об этом все знали.

Шла Демидова, про которую Войлович сказал однажды:

– В ней, несомненно, что-то есть, но это «что-то» прячется так глубоко, что надежды на то, что «оно» выйдет наружу, почти не остается.

– Какая-то она нескладная вся! – определил Войлович.

А помреж Голуб смотрел на нее с кислой физиономией и просил актеров:

– Мужики, хоть бы кто выпрямил ее, что-ли?

«Мужики» смеялись и отшучивались: «Пусть господь ее выпрямляет». Роли ей давали незначительные, и лучшей была роль атаманши в сказке для детей «Лапти-самоплясы».

Сама Демидова считала себя соперницей Волошиной, таила злобу на нее и на Голуба и тайно сохла по Яшунскому.

Часов в десять утра рабочие с Давыдовичем были у Алмазова. Контейнер еще не подошел и решили пока стаскивать вещи вниз. Этаж был подходящий, третий. Громоздкого почти ничего не было, кроме пианино. С него решили и начать.

Пока суд да дело, Алмазов предложил по рюмочке. Его жена, Наташа, толстушка с матовым лицом и жирной косой, уложенной на затылке

башенкой, посмотрела на него уничтожающе. Ребята было оживились, но Давыдович за всех отказался:

– Не суетись, Паша! Давай дело сделаем!

Жена Алмазова глазами поблагодарила его и, было видно, что она довольна.

Алмазов быстренько замял это дело, обратившись к жене, и, как бы, давая понять всем, что готовится нечто грандиозное:

– Ты, Маша, ставь картошку, селедочку пока приготовь.

– Делай свое дело! – отрезала Маша.

Пианино тащили вчетвером на веревках. Предвкушая хорошую выпивку, были возбуждены, тратили сил больше, чем требовалось, мешали друг другу, но инструмент стащили быстро. Потом без особого труда снесли вниз холодильник и чуть больше провозились с «Хельгой», (хозяйка умоляла не поцарапать и не разбить стекло), и стали таскать уже вразброд мелочь, узлы с кухонной утварью, книги в связках, стулья, кресла.

После перекура стали грузить вещи в прибывший контейнер. Сначала пианино и громоздкие вещи, потом узлы, книги сверху. Контейнер был вместительный, да и Давыдович знал свое дело туго. Так что, все влезло, все было закреплено и готово к отправке.

Пока Алмазов отправлял машину, его жена дала ребятам умыться и провела в пустой зал, куда поставила

старый кухонный стол, который с собой не брали и оставляли здесь. Оставили еще две старые табуретки и стул. На табуретки положили доску. Сели четверо. Двое разместились пока на подоконнике, но сказали, что за столом постоят. Стул оставили Алмазову.

Закуска была хорошая: жареное мясо, соленые огурцы, яичница, целая картошка. Водки выставили много: Алмазов постарался. Пили и ели весело. Алмазова одергивала жена, напоминая, что ему вечером идти в ресторан.

– Не беспокойся, я знаю, – повторял Алмазов, но хотя пил и меньше всех, раскраснелся и к концу застолья был не то чтобы пьян, но навеселе заметно.

Когда стали расходиться, Давыдович полез к Алмазову целоваться, по щекам его текли пьяные слезы, и смазывалось ощущение искренности.

Маша сунула Давыдовичу еще две бутылки водки с собой. Давыдович одну бутылку поставил себе в карман, а вторую отдал кому-то из ребят. Долго толкались у дверей, жали руку Алмазову, все были растроганы, и всем было всех жалко.

Наконец разошлись.

Маша на банкет не оставалась. Она ехала вслед за вещами. До отхода поезда оставалось еще три часа, но ей хотелось перед отъездом обежать подруг и немного посплетничать и попрощаться. Сам Алмазов шел в театр, потом должен был проводить жену на вокзал и посадить в поезд...

Столы накрыли в банкетном зале.

В ресторан шли прямо из театра и почти всей компанией, и в зал ввалились шумно, со смехом, весело переговариваясь. Сразу оглушила музыка – уже распоряжался Паша Алмазов. Здесь же вертелась Аллочка Волошина, непонятным образом оказавшаяся в ресторане раньше всех. За стол не садились, не было еще Веронской, Демидовой, задерживался Филиппов.. Стояли группами. Яшунский рассказывал анекдоты, и в его углу раздавались взрывы смеха.

Вскоре собрались все. Филиппов пришел сосредоточенный и бледный, а его глаза поблескивали, отражая горевшие стосвечовыми лампочками светильники. Поразила Демидова. Высокими сапогами с тонким каблуком, джинсами, подвернутыми до колен и плотно обтягивающими бедра, и легкой кофточкой, под которой, кажется, больше ничего не было. Волошина многозначительно переглянулась с Пашей Алмазовым и посмотрела на Яшунского, но тот, бросив на Демидову беглый взгляд, продолжал рассказывать анекдоты.

Стали усаживаться за стол. Волошина села рядом с Алмазовым, Яшунский – ближе к молодежи, а Демидова облюбовала место напротив Яшунского, потому что место рядом оказалось уже занятым.

Филиппов сел ближе к выходу. Сразу стали раскладывать еду по тарелкам и разливать водку. Ждали, кто возьмет на себя роль тамады. Филиппову надоело ждать, и он приказал зло через весь стол Яшунскому:

– Чего ждем? Саша, говори тост!

Яшунский послушно встал и, призывая к тишине, постучал ножом по тарелке. Подлетел официант и вопросительно уставился на Яшунского. Яшунский тоже вопросительно уставился на него. Получилось два официанта. За столом захохотали.

– Дорогой, уйди ради бога! Без тебя тошно! – попросил Филиппов, скривившись как от зубной боли.

Когда успокоились, Яшунский выдержал паузу и сказал:

– Паша, ты был с нами столько лет. . . Ты был хорошим товарищам... Тебя любила публика. И вот ты уходишь от нас ...

– Аминь! – ехидно перебил Филиппов и, обращаясь к Алмазову, начал говорить:

– Пашка, слушай меня. Яшунский ничего не сказал, но он сказал, что ты хороший товарищ, и это правда. И тебя любит публика – тоже правда. Всё правда. И что ты уходишь, оказывается, тоже правда. И правильно. Чувствуешь в себе силы на большее – валяй. А талант в тебе есть. Но это еще не все... Здесь ты был заметен, в столице тебя может быть и видно не будет. Ты не обижайся. Ты актер хороший, но не рассчитывай на цветы и овалции. Там публика тонкая, ее наскоком не возьмешь. Надо работать до седьмого пота. Работать и учиться. Там есть, слава Богу, у кого... И не упусти случай, если он тебе представится. Случай

– это не мало, а иногда все. Вспомни Милочку Гаврилову. Умница, красавица, талант. ВГИК окончила с отличием, распределилась в Ленинград. Я ее видел потом в спектакле, плакал и не стеснялся слез. Это актриса... Но когда ей представился случай сняться в хорошем кино у хорошего режиссера, она свой случай упустила. По глупости. Не хватило то ли ума, то ли наглости отказаться от тоже хорошей роли в театре... Но я не о кино сейчас. Ты здесь ни при чем... Запомни вот что. Талант талантом, но сможешь ли ты без Кольки Карасева?.. А, в общем, не забывай своих товарищей, среди которых ты стал актером.

Филиппов одним махом выпил водку и сел.

Жидко поаплодировали. Молодежь речью осталась недовольна. Речь произвела обратное впечатление и оставила ощущение неловкости. Только Яшунский тихо сказал: «Браво, Федор». Ждали, что Алмазов обидится, но он вслед за Яшунским сказал: «Спасибо, Федя»!

И это прозвучало искренне. Не все знали Филиппова, чтобы верно оценить то, что он сказал.

Больше тостов, можно сказать, не было. Вместо тоста Яшунский рассказал нескромный анекдот, и Аллочка Волошина взвизгнула от удовольствия и посмотрела интимно на Алмазова.

Потом все смешалось. Пили, громко говорили, стараясь перекричать друг друга, и уже никто никого

не слушал. Грохотал оркестр, продираясь с ржавым скрипом через динамики, установленные в зале. Уже расстегнуты верхние пуговицы рубашек и ослаблены узлы галстуков. Жарко и душно, и открытая форточка не помогает. Самовыражалась в танце молодежь. Аллочка Волошина намертво приклеилась к Алмазову, и они изображали танго. И уже никому ни до кого не было дела. Филиппов не вставал из-за стола, потихоньку пил и бледнел все больше.

Демидова, наконец, добралась до Яшунского. Она сидела рядом и все пыталась выпить с ним на брудершафт, а он никак не мог от нее отвязаться...

Все кончилось внезапно, будто и не было ничего: не было банкетного зала, не было никаких проводов, не пели, не рассказывали анекдоты.

Пьяного Пашу Алмазова увезла на такси Аллочка Волошина. Поезд уходил утром, и ему негде было спать.

– Пашка, развратник! – трезво закричал вслед такси Филиппов, который стоял, держась за наличник низкого ресторанный окна. – Ни хрена из тебя путного не выйдет.

Шапка с него свалилась, но он не мог поднять ее, потому что не мог оторваться от наличника. Яшунский надел на него шапку и взял под руку.

Рядом семенила Демидова.

Орёл, 1979 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ОТ АВТОРА.....	6

РАССКАЗЫ

«НИЩАЯ» ПАША	10
ХОЗЯЙКА	24
ВАСИЛИНА.....	41
К СЫНУ	71
КАК ЗДОРОВЬЕ, БАТЯ?.....	93
АНТАГОНИСТЫ	110
КРАЖА.....	132
ИЗМЕНА	152
НЕ ХУЖЕ ДРУГИХ.	171
КАК БЫВАЛО «НА КАРТОШКЕ»	199
КОНФЛИКТ	218
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА	230
КОБЕЛЬ.....	241
БАЛАМУТЫ	248
СКЛОКА.....	259
МЕРОПРИЯТИЕ	266
АРТИСТЫ	277

Валерий Георгиевич Анишкин

БАЛАМУТЫ

Рассказы

Художник: Т.Ю. Богданова
Технический редактор С.А. Ветчинников

Подписано в печать 07.07.2014 г. Формат 60x80 1/16
Печать ризография. Бумага офсетная. Гарнитура Times
Объем 22,75 усл. печ. л. Тираж 500 экз. Заказ № 198

Лицензия ПД № 8-0023 от 25.09.2000 г.
Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО Полиграфическая фирма «Картуш»
г. Орёл, ул. 2-я Посадская, 26. Тел./факс (4862) 44-51-46.
E-mail: kartush@orel.ru www.kartush-orel.ru



Анишкин Валерий Георгиевич

Филолог, историк. Член Союза российских писателей. Живет и работает в г. Орле. Автор книг «Великие мыслители. История и основные направления философии» (Ростов на Дону: Феникс, 2007), «Русь и ее самодержцы» (Ростов н/Д: Феникс, 2009), «Быт и нравы царской России» (Ростов на Дону: Феникс, 2010), «Богатство и бедность царской России (ООО ПФ «Картуш», 2013), «Изобилие и роскошь, беды и бедствия Руси» (Germany, Gmb&Co.KG, 2014), романов «Потерявшиеся в России» (ООО ПФ «Картуш», 2012, Germany, Gmb&Co.KG, 2012) и «Моя Шамбала» (ООО ПФ «Картуш», 2013, Germany, Gmb&Co.KG, 2013), а также повести в сборнике «Приокские рассказы», статей о русском языке в «Литературной России» и

ISBN 978-5-9708-0432-2



9 785970 180432 2